

Лейла Элораби Салем



ЗЛАТЫЕ КУПОЛА НАД РУСЬЮ

Книга 2

Лейла Элораби Салем

Златые купола над Русью. Книга 2

«Издательские решения»

Элораби Салем Л.

Златые купола над Русью. Книга 2 / Л. Элораби Салем —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-966914-8

На московский престол восходит великий князь Василий III, который решает продолжить начатое отцом собирание земли. Именно при его правлении Смоленск вернулся русским.

ISBN 978-5-44-966914-8

© Элораби Салем Л.
© Издательские решения

Содержание

Книга вторая	6
1. Молодой князь	6
2. Семейный круг	9
3. Пушкарный двор	14
4. Воевода нижегородский	17
5. Награда	28
6. Путь на богомолье	33
7. Первая война	39
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Златые купола над Русью

Книга 2

Лейла Элораби Салем

© Лейла Элораби Салем, 2019

ISBN 978-5-4496-6914-8 (т. 2)

ISBN 978-5-4496-6915-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Книга вторая

1. Молодой князь

Бум, – раздался, прокатился, раскрылся во всем своем величии колокол Успенского Собора, вновь отстроенного, изукрашенного творения итальянского мастера. Тяжелый-низкий гул окинул всю округу – от самого центра Москвы до дальних пределов за городской стеной.

Бум – вновь прозвенел колокол, на своем собственном языке раскидал церковный призыв; прокатился по широким и узким улицам столицы величественный глас. И словно по мановению чьей-то длани вторили главному колоколу детища его: большие и малые, низкие и звонкие – какие имелись в ту пору на Москве. И уже не одним одиноким звуком огласилась округа там и здесь стольного града, но веселым, заливым перезвоном, словно перепевая друг друга запели-загудели колокола, в тот день не предвещавшие никакие беды. Да и какая беда могла приключиться, кол вскоре вступает на престол великокняжеский новый государь: молодой, разумный, аки сокол далеко смотрящий, благословенный на царствование отцом своим – Иваном Васильевичем? А ныне готовился народ православный принять властную руку Василия Ивановича – единственного достойного из всех сыновей покойного князя.

Открывались – отпирались засовы и калитки думных бояр, отгороженных от привычной жизни высоким частоколом, да бедняков, живущих в вечном поиске хлеба насущного, выезжали на улицы на рослых конях дворяне да дети боярские, а за ними плелись своим ходом простолюдины с заспанными, покрасневшими белками глаз. Разношерстная толпа московитов: мужчины, женщины, старики, дети, отроки, богатые и бедные, знатные и неизвестные шли по узким кривым ли улочкам или же ехали в крытых колымагах по широким торговым рядам – все они в этот день словно слились воедино, какая-то неведомая сила на миг сравняла их в едином порыве и случилось сие неспроста: венчают в соборе Василия Ивановича – как же пропустить явление нового государя?

Холодное осеннее солнце тусклыми лучами осветило площадь вокруг Успения и толпу людей, собранных здесь в столь ранний час. Уж длинный ряд стрельцов – все, как на подбор, статные, высокие, плечистые, в одинаковых кафтанах, стянутых кушаком, у каждого в руках по бердышу – посмей кто иной на пядь приблизится к государевой процессии! Плотно, плечом к плечу, встали в толпе, ощущался на лице утренний запах дыхания и душистый аромат меда. Кто-то ненароком наступил своему соседу на ногу, а извиниться не извинился, завязалась перебранка, но до настоящей драки дела не дошло, и вовремя: стрельцы потеснили толпу, стройной колонной проехали бояре в крытых колымагах, зорько глядели, чтобы ни один простолюдин не зыркнул в оконце, не узрел бы жён да дочерей боярских в златотканых, подбитых мехом, опашнях. Заключение по воле рождения в неволе теремов, боярыни и боярышни с нескрываемым любопытством выглядывали из-за занавесок на разношерстную толпу, в глубине молодых сердец своих неведомым магнитом тянулись к людскому приволью, оторванного от них неприступной стеной законов и отцовским надзором. А кровь бурлила в висках, огненной водой разливалась по жилам, смешивалась с врожденной бурной задорностью и желанием просто жить в мире, но, увы, останавливались под тяжестью родительского повеления сокрыться от обычного – живого, настоящего, здешнего – света, дабы не потерять семейное величие, которое так несвойственно молодым.

Кортеж боярский, проехав на подворье Успенского собора, остановился. Рынды помогли величественным мужьям вылезти из колымаг и подняться по высоким белокаменным ступеням. Стрелецкий отряд яростно отталкивал толпу, что пыталась вырваться в храм средом

за думцами, но увы: к собору подпустили лишь калек да юродивых – их запрещено было обижать на Руси.

Закрылись двери собора, пропустив последнего вошедшего. Толпа разом смолкла в тот миг, когда из колокольни раскатился призывной звук, прокатившись далеко над землей и взметнувшись ввысь – к хмурым, сероватым небесам. Колокол, отлитый еще при Иване Васильевиче с чистым благословением Аристотеля Фиоравенти, возвестил о начале службы. Народ неистово закрестился, преклонился над землей с тихими молитвами на устах. Из-за темных осенних туч выглянуло несколько косых лучей, озарившие – позолотившие золоченные купола и массивный крест на маковке.

В самом соборе Успения было многолюдно и посему нестерпимо жарко от тел в тяжелых опашнях и сотни свечей в кануне. Отдельно ото всех пред митрополитом Симоном, склонив голову в ожидании царского благословения, стоял Василий Иванович. Молодой, статный, с темным не по-русски, но красивым лицом, великий князь готовился не столько душевно – к сему его подталкивала сызмальства Софья, сколь телесно принять на себя тяжкие знаки власти. Сердце его гулко билось в груди, разгоня горячую кровь по жилам, в голове роем вились мысли, которые он не способен был унять ни молитвенными словами, ни религиозным трепетом.

На постаменте, прямо напротив алтаря, возвышались изукрашенные камнями, два трона – для князя и княгини. Митрополит медленно приблизился к Василию Ивановичу, трясущимися руками, словно его оставили последние силы, возложил на молодого государя бармы и шапку Мономаха. Легкая дрожь пробежала по телу князя, когда он почувал на плечах своих тяжесть властных регалий. Легкая усмешка растянулась на его жестком, резком лице: давно ли восседал на этом же самом месте Дмитрий в то время, как он, Василий, вместе с матерью пребывали в заточении старого княжеского дворца? Ныне Дмитрий не опасен в своей тюремной неволе, вдалеке от родных и близких. Ведал ли глупец, принимая власть из рук митрополита, какая участь ожидает его самого и его мать ровно через год после коронации? О, тот, кто хитростью и коварством захватит престол, повергнут будет и будет само имя его покрыто позором!

Все еще пребывая в грезах сладостной мести, Василий Иванович машинально оперся на локоть трона, ушами слышал благословения священнослужителей на долгие годы царствования, а плотные ряды бояр, князей, дьяков и иных думных мужей хором вторили за митрополитом: «На многие лета, солнышко наше, великий князь Василий Иоаннович!»

Государь приподнялся с трона, постукивая посохом по каменному полу, двинулся сквозь ряд подданных людей, гордо возвыаясь над их склоненными головами. Перед ним раскрылись ворота собора и холодный свежий воздух обдал его раскрасневшееся от храмовой духоты лицо. Толпа подалась вперед, затоптав впереди стоящих. Радостный колокольный звон оглушил Москву со всех сторон. Принимай, народ православный, нового государя, склоняй перед ним голову свою. Василий Иванович остановился на первых ступенях и, взяв в охапку поднесенные ему монеты, бросил их в толпу юродивых и прокаженных для восхваления из их уст своего имени. Стрелецкий отряд потеснил народ, освободив место для великокняжеского шествия. Государь, опираясь на тяжелый посох, двинулся по персидским коврам в окружении бояр и дворцовой стражи. Со всех сторон раздавались пронзительные, трепещущие голоса простого люда, тянулись к князю сотни рук, что осеняли государев ход крестным знаменем.

– Солнышко ты наше, Василий Иванович! – крикнули женщины.

– С благословением Божиим, государь! – радостно восклицали старики.

Счастлив был народ в тот день, ясным взором устремлялись их очи на Василия Ивановича, будто бы всматривались они в своё будущее. Грустными, хмурыми стали лица многих бояр – тайных сторонников Дмитрия и Елены Стефановны, чувствовали они – Василий уж не тот малый отрок с задорными карими глазами, но великий князь московский, унаследовав-

ший от отца своего жёсткость и властность, а от матери – этой злополучной гречанки – хитрость, коварство и одновластие.

2. Семейный круг

Отшумели пиры да застолья великокняжеские. Восседали на них бояре думные и князья из иных городов раскинувшейся на дальние пределы Руси. Велик и мудр был ныне почивший Иван Васильевич, оставил стране не раздробленной, погрязшей в междоусобицах, но единым государством – как кулах в пять пальцев, удерживая новые земли в повиновении. На пиру же вино ромейское лилось рекой, слуги не успевали наполнять кубки; яства всякие русские и заморские менялись одни за другим: сколько коров, поросят, кур да гусей порубили подмастерья в дворцовых кладовых! А народ? Толпы простолюдинов – от самых бедных и обездоленных до важных купцов заполнили Лобное место и прилегающие к нему улицы и торжища, жгли костры, дабы согреться, не забывая при том кормиться из государевых котлов, поставленных для народа пиршества ради. Пили мёд и вина на улицах, гордо с поднятой чарой благословляли имя нового московского князя и его супругу.

Прошла седмица, за ней другая. Опустели котлы, за ними улицы – люд вернулся к своим обычным, привычным делам. Да и в палатах государевых наступила тишина. Гости и удельные князья разъехались всяк по своим домам, ясно понимая, что вдругорядь по какому празднику вновь соберутся за белыми стенами палат. А князь Василий Иванович словно вырос – повзрослел за то время, осознавал, что нет более рядом с ним ни отца, ни матери – той прочной, неприступной поддержки, на которую он некогда опирался. Остались лишь братья, каждый из которых втайне надеялся на шапку Мономаха, да сидящий взастенках Черной избы – главной московской темницы, злосчастный Дмитрий Иванович – единственный сын его покойного брата по отцу. После смерти Ивана Васильевича Дмитрию определилась незавидная роль. Тот, кто некогда венчался на княжение и принимал в руки свои знаки власти, воротился в темную клеть на нижнем этаже среди нечистот и смарда по приказу его злопамятного дяди. Никогда не простит ему, по воле судьбы и Елены Стефановны, навета на Софью Палеолог, не простит даже то единое, что пришлось Дмитрию хоть на короткий срок, но занять государев престол. Когда останки Ивана Васильевича мирно упокоились в Архангельском соборе при сотнях плачей и стенаний, лишь взглянул Василий на племянника из-под хмурых густых бровей – того взгляда не забудет до последнего вздоха! – и понял, что не будет ему ни прощения, ни пощады. Двое стрельцов взяли его под локти и поволокли к возку, застучали колеса по неровным дорогам и глаза его, затуманенные от выплаканных слез, не сразу, но различили знакомое здание – высокий бревенчатый дом с маленькими оконцами, то была темница – его новый-старый постой. Теперь Дмитрий осознал, что покинул палаты великокняжеские навсегда, хорошо еще, что дали ему проститься с дедом, а иного он более не жалел. Закрылась за его спиной тяжелая окованная дверь, растворился привычный мир во мраке темницы, лишь отдаленные окрики стражи да пробежавшая из одного угла в другой мышка свидетельствовали о живом свете.

В трапезном зале царил полумрак. Длинный дубовый стол освещали пять свечей в серебряных подсвечниках, а в углу, в кюте, горели еще три церковных свечек. Высокий сводчатый потолок, разукрашенный картинами из охотничьей жизни, накрывала густоватая темнота, будто то были не дворцовые палаты, но ночное безлунное небо. Ели молча, время от времени прихлебывая студень из кубков. Их сидело шесть человек. Во главе стола восседал в золоченом кресле великий князь и государь Василий Иванович, по правую его руку разместились великая княгиня молодая Соломония Юрьевна Сабурова, чувствующая себя чужой среди братьев супруга: Юрия Ивановича, князя дмитровского; Дмитрия Ивановича, князя углецкого; Семена Ивановича, князя калужского; Андрея Ивановича, князя старицкого и волокамского.

Тихая, мирная вечерняя трапеза большого государева семейства, ничем не утружденное и не обремененное. Великий князь не любил шумные пиры и долгие застолья с чужими

по крови боярами, мелкими князьями, дьяками, послами заморскими: уставал быстро от них, от чужих запахов и голосов. Ему, еще молодому, полному сил, был ненавистен и презрен сонм лицемерных благосклонных словес, здравиц за свое здоровье и долголетие, а позже, в уединении молельного дома, чувствовать себя опустошенным, словно боченок с выпитым медом, и тогда злился он на бояр и дьяков, на себя, корил самого себя за бездействие: вот взять бы этих блюдолизов за ворот и вон из дворца с глаз долой, но сдерживал себя, взрастая в душе глубокую, ничем не прикрытую ненависть к верным вассалам. Давно ли они гнули спины и пели благословения Дмитрию и его ненавистной матери, злой волошанской ведьме? Ныне же готовы преклонить колена перед другим избранным на царство – и все в угоду своему раболепию. Случись что, побегут блудливыми псами целовать сапоги третьему.

Иное дело семья. Здесь, среди близких, дорогих сердцу людей, Василий Иванович сбрасывал с плеч величие и гордость великокняжескую, облачался в просторную домашнюю одежду и становился просто человеком, о котором забывал подчас с тех самых пор, как был провозглашен отцом наследником московского престола. Провел тяжелым взором стол, остановился на братьях: вот они как на ладони видимые, все как один темные, смуглые, совсем не московитской наружности – видать, греческая горячая кровь поборола северную славянскую. И одежды на князьях: кафтаны с золотыми пуговицами, нитями яркими расшитые, и коротко подстриженные густые черные волосы – никак не рядились с общим обликом потомков константинопольских императоров. Василий мысленно представил братьев в греческих тонких одеяниях: длинной туники да сандалиях из кожи вместо красных сапог и нашел невообразимое сходство между ними и теми картинами на амфорах да фрезках матери. И именно им – грекам по крови и вере, предстояло укрепить-расширить земли Московии, поставить на колени казанских ханов, а на западе – оспорить право на владение Смоленском у крепкой гордой Речи Посполитой.

Соломония потупила взор, не решалась взглянуть на мужа, а тем более, молвить хоть словечко. Княжеские братья тоже углубились в свои тарелки, боялись первыми заговорить либо спросить что-либо. Крут Василий нравом, ежели что не по его, так держитесь – посох в руках его тяжел. Нарастало безмолвное напряжение, заполняло пространство своей неумелой тишиной, и казалось, будто сейчас в тот же миг грянет гром посреди мирной семейной жизни. Василий напрягся, бросил ложку в тарелку, прислушался: в коридоре раздались торопливые шаги, кто-то переговаривался за дверью. Не успел великий князь спросить, что происходит, как дверь отворилась и в трапезный зал вплыла женщина в черном монашеском одеянии. Вместе с ней ворвались прохладный ветерок и запах ладана. На первый взгляд при виде лица старицы можно подумать, будто ей не менее сорока лет – так серо и осунувшись выглядела она посреди княжеского великолепия, но зоркий тут же бы усмотрел в матушке молодую, полную сил женщину – не многим старше великого князя.

Вошедшая молвила здравицу за здоровье княжеской семьи, перекрестилась трижды на Образ в киоте и, не дожидаясь приглашения, направилась к столу не как гостя, но как хозяйка, усевшись прямо напротив Василия. Остальные переглянулись меж собой в недоумении, обратили взор на государя: тот весь как-то напрягся, подался вперед, явно усилием воли сдерживая бурный поток гнева. «Какая нечистая принесла её?» – подумал он и встрепенулся от самой этой греховной мысли. Вместо окрика Василий спросил:

– Пошто явилась без зова, Исидора?

Старица усмехнулась, хитро прищурила левый глаз и две преждевременные морщинки обрамили ее лицо. Послышался ли ей детский несмышленный лепет маленького Васи или же она в заточении монастырских стен совсем позабыла брентную жизнь? Лицо Исидоры: сухое, вытянутое, с тонкими поджатыми губами и холодным взглядом темно-серых глаз совсем не походил на некогда далеко-позабытый чистый ангельский облик Машеньки – тоненькой девочки с белокурыми локонами и ясно-голубыми очами. Что за терзания мучили несчастную,

волею рока отдаленной от семейного очага в чужую обитель? Дрогнули руки старицы, но она все же сохранила хладнокровное достоинство, делая вид, будто и не боится государя.

– Слыхала я, княже, что собрался ты на трапезу со семьей своею, вот я и поспешила к тебе через всю Москву, ибо хотелось мне провести сей вечер с вами.

– Разве я звал тебя, Исидора? Разве велел переступить порог моих светлых палат? – воскликнул Василий и взмахом руки невольно задел кубок, тот упал со стола и покатился по полу.

Одна свеча догорела и с треском погасла. Над головами сидящих нависла зловещая тишина. Но старица знала слишком хорошо троюродного брата, одна из всех не боялась его, явно чувствуя превосходство над ними за своё старшинство и церковный сан.

– Что слышу я от сына моего двоюродного дяди? Неужто позабыл ты меня, Машеньку, что некогда качала тебя в колыбели заместо матери? А вы? – она сурово обвела княжеских братьев ненавистным взглядом, молвила. – Разве вы позабыли обо мне?

Горько обожгло нутро Василия, словно в миг проглотил он раскаленное масло. И правда: как мог он, великий князь и государь, чураться родства – пусть даже отдаленного, со старицей монастыря; а теперь и вовсе осознал, почуял сердцем, что Исидора куда ближе и роднее не только сидящего в застенках Дмитрия, но даже братьев, даже жены! С раскаянием в голосе сказал:

– Прости меня, Исидора, за гнев несправедный. Двери моего дома всегда открыты для тебя.

Исидора усмехнулась, вытянула в безжизненной улыбке губы, как бы говоря: смотри, княже, не позабудь сказанных тобою слов.

Наступила полночь. Сменилась стража на стенах княжеского подворья. Разошлись все ко сну глубокому – до следующего дня. Погасли все свечи в хоромы государевых, захлопнулись ставни на всех ходах и выходах.

В почивальне Василия Ивановича и Соломонии Юрьевны было душно. Великий князь ненавидел холод и не любил прохладу, осенью и зимой запрещал отворять оконные ставни, не пускал в спальню ветер северного края. В углу, под святыми образами, горели свечи, в медной турецкой посудине – некогда принадлежащей Софье, дымились сладковатые индийские масла: и все эти приторные запахи – русские и басурманские, витали под потолком большой опочивальни, увешанной тонкими занавесками и персидскими коврами.

Василий сидел на высокой кровати под альковом, почему-то угрюмо, совсем нерадостно поглядывал на супругу в тонкой, полупрозрачной рубашке белоснежного точно снег цвета, из-за этого её большие черные глаза и черные волосы еще сильнее оттеняли нежную бледную кожу. Соломония стояла в нерешительности, боялась не только слово молвить, но даже взглянуть на мужа, уже давно зная его необузданный, раздражительный нрав. Князь встал, подошел к ней. Женщина еще более сжалась, словно боялась ожидаемого удара. Его глаза загорелись огнем похоти при взгляде на стройное молодое тело под тонким шелком. Руки князя тронули ее плечи, прошлись по женственным гладким изгибам. Не долго думая, он распустил косу Соломонии – густые черные волны заструились по плечам и спине, рывком скинул с неё ночную рубашку и, цокнув языком, с упоением осматривал который раз ее нежное хрупкое тело. Но вдруг что-то произошло и Василий с нарастающим раздражением почувствовал, что не желает жены своей. Оттолкнув Соломонию и велел ей одеваться, государь направился в угол спальни и, чуть помедлив, упал пред Образом на колени, неистово трижды перекрестился, прошептал:

– Господи, направь стопы мои по верной стезе, да не осквернятся уста мои во лжи, да не возьмут руки мои того, чего не положено мне по праву, да пребудут со мной мысли праведные...

Говорил так молитву, а думал об ином. В памяти всплыл тот день, когда был жив его отец, Иван Васильевич чувствовал приближение смерти, ведал осознанно, что не имеет на то права

оставить сына одного на престоле, когда тот займет свое место. Для того и устроил свадьбу Василию. Невесту, будущую жену, должен был выбрать сам царевич, для того и созвали со всех концов разрастающегося государства девиц из благородных семей, коих собралось в тот день около полутора тысяч. Из самой столицы, из Твери, Новгорода, Рязани, Владимира, Пскова и даже непокорной Казани съезжались девицы-красавицы, каждая из них везла с собой ларцы с драгоценностями, ворохи златотканых одеяний, белила, румяна, сурьму да духи. Отдельно прибыли татарские княжны в сверкающих иранских да арабских украшениях, украдкой покрывали заплаканные лица косейными покрывалами, страшно было им оставаться на Москве, среди чуждых неверных гяуров, не хотели в сердцах своих менять обычаи и веру отцов на неизвестного урусутского Бога.

Девицы тревожились, каждая надеялась, что именно ее-то и выберет наследник московского престола. Поначалу претендентки проходили по одной в комнату, в которой за ширмой сидел лекарь-немец. Протянув ему в специальное оконце в ширме кисти рук (негоже было чужеземцу взирать на невинных девиц), они со страхом ожидали вердикта доктора, что по биению пульса определял состояние здоровья. Далее их спроваживали в комнату, где обученные женщины осматривали тело, волосы зыбу девушек и ежели находили какой изъян аль проказу, тут же возвращали непригодную к родным. Не было для отца и матери большего позора, ежели воротиться домой с дочерью: что тогда подумают соседи о них, что скажут? Захочет ли кто-нибудь потом взять в жены злополучную дочь?

Много еще преград встало на пути к сердцу княжича. Девицы соревновались в рукоделии и кулинарии, в знании священного Писания и закона – тут уже красота не имела значения.

Настал день, когда сам великий князь вместе с сыном изберут новую будущую княгиню. Собрались претендентки в главной зале Грановитой палаты, встали плечом к плечу. Высокие и маленькие, пышные и хрупкие, золотоволосые и черноволосые, все красивы по-своему, стоят, потупив взоры, а сами прямые, гордые – как березки. Дали им знак. Каждая поочередно подходила к государям, кланялась взмахом руки, складывала у их ног вышивание свое да хлеба, что пекли собственными руками. Василий сидит молча подле отца, гордо взирает на сонм прекрасных девиц – точно райские цветы посреди луга, так и переливаются на руках и кокошниках камни-яхонты да жемчуга! Княжич всматривается в лицо одной – та невысокая, плотная, пышнотелая как булка сдобная, кожей бела, щеками румяна, очи большие словно небо голубое с поволокой, опущенные длинные ресницы, коса светло-русая с руку толщиной. Приглянулась она ему.

– Мария Петровна! – представили ее государю.

Василий заалел весь, наклонился к отцу, шепнул:

– Хороша девица, из всех она более нравится.

– Не думай о том, возразил сыну Иван Васильевич, – эта внучка боярина Григория Мамонова. Негоже этому роду пускать глубокие корни у престола великокняжеского.

Огорчился Василий на отца и более ничего в тот день не молвил. А стареющий государь выбрал черноокою Соломонию, старшую дочь безызвестного Юрия Константиновича Сабурова, писца Обонежской пятины Новгородской земли. Невеста была умница да красавица, мастерица да набожная в вере своей, да только не полюбилась она Василию, все о другой тосковало сердце его. Думал поначалу слюбится-стерпится, но минуло время, а Соломония так и не стала близкой ему.

Подумал-вспомнил великий князь о почившей матери своей Софье Фоминишне: уж она бы уговорила отца отдать сыну в жены юную Марию Петровну – княгиня всю жизнь имела власть над супругом. Ранее Василий мало думал о матери, когда жил рядом с ней, а ныне с раскаянием и неведомой теплой грустью в душе понял, как ее теперь ему не хватает.

Долго еще сидел он в молитве, пока не догорела последняя свеча. Устало поднявшись, прошел к ложу, там уже спала Соломония, и за это все – что она не спрашивала ни о чем, не плакала за отказ его – вот только за то был он ей безмерно благодарен.

3. Пушкарный двор

Василий Иванович быстрой молодой походкой поднялся по винтовой лестнице к длинному проходу Кремля под небом, прошел мимо ряда стрельцов и резко остановился, приблизившись к кирпичной кладке между бойницами. Холодный зимний ветер бросал в лицо хлопья снега, рвал, взвывая ввысь, подол соболиной шубы, гудел в щелях стен каким-то низким, зловещим стоном. Глаза государя устремились вдаль: здесь, на Кремлевской стене вся Москва виделась как на ладони. Там, за Лобным местом, за храмами и церквями становилась сама жизнь, большие, широкие терема бояр сменялись домами людей служивых, далее шли посады стрельцов и приказчиков, а уж за всем этим – по другую сторону, за торговыми рядами, ютились жалкие лачуги простого люда, неприглядно смотревшиеся на фоне двухярусных хоромин государевых людей. Бояре те в последнее время принялись обновлять дома свои: ломали старые деревянные, а на их место возводили крепкие каменные, изукрашивали их столбами да росписями, разбивали на землях своих сады да парки. Да, сильно переменялся город в последние несколько лет. Начавшееся строительство еще при Иване Васильевиче пока не завершено, и посему сыну его предстоит поднять-возвеличить Москву над иными городами, не дать ей упасть-прогнуться под непокоренными Псковом, Рязанью, Казанью.

Глаза прищурились, взглянули далеко – за реку Неглинянскую, за посады и крестьянские избы туда, где поднималось солнце, озаряло прибрежные холмы и леса серебристо-голубым светом. Вновь подул ветер, сорвал снег с одной из бойниц, взвыл их легким пухом над головой и унес в зимнее пространство.

Где-то за спиной раздались торопливые шаги – всё ближе, ближе прилежались. Василий Иванович обернулся, напустил на себя грозно-величественный вид. К нему приблизились князь Иван Воротынский да боярин Иван Берсень-Беклемишев – муж тонкого ума и хорошо образованного. И вот эти два человека поклонились великому князю, упали откидные рукава их опасней на холодный пол, сказали:

– Государе великий князь, сани готовы уж.

– Пошто поспешно-то так? – недовольно отозвался Василий Иванович, ненавидевший всей душой зимнее утро.

– Так пушкарный двор рано пробуждается, все мастера да подмастерья ждут-не дождутся твоего прихода, княже, – ответил, отметя любое недовольство государево Берсень-Беклемишев.

Махнул Василий рукой, опираясь на посох, молвил:

– Ладно уж, ступайте, готовьтесь к отъезду.

Застучали каблуками по каменным плитам дворца, закрипели тяжелые двери, заржали кони, резво взрыхлили снег копытами, радостно помчались по полупустым улицам счастливые оттого, что бегом своим разогреют застывшую на морозе кровь.

Великий князь и государь сидел в крытых санях под медвежьим одеялом, зорько посматривал на редких еще прохожих в слюдяные окна, покрытые переплетающимися узорами инея – этого удивительного художника северных стран. Народ московский еще не перенял изменения, всё также раболепно на радость государю падаль на землю, кланялся по татарскому закону, прочно укоренившегося само того не ведая на Руси. А бояре? Вон, скачут на своих аргамаках подле саней, то и дело услужливо заглядывают в окна, по-холопски как-то виновато улыбаясь, а сам Василий сидит в тепле, горделиво смотрит куда-то, словно не замечая никого, а сам-то в то время думал-раздумывал, как поднять, приподнять власть княжескую надо всеми боярами да иными князьями на Руси, свершить и закончить то, что начато при отце его? Воспитанный матерью – гречанкой, сызмальства ведал Василий о неведомых славе и могуществе некогда живших византийских императорах, чья власть в стране не оспаривалась никем: ни духовни-

ками, ни сановниками, дескать – вся власть от Бога, а, значит, непосягаема для простых смертных; властитель – наместник Господа.

– Оттого, – говорила Софья своему старшему сыну, – когда ты по смерти отца сядешь на московский престол, помни, что лишь единой властью, единым государством будет сильна Русь. А куда города и волости в руках князей, не видать нам покоя, потому и неверные татары столько лет держат в подчинении русский народ. Будет единый царь – закон не только для простого люда, но даже для бояр и князей, тогда лишь Русь расширит границы свои.

Этот урок и эти слова навек запечатлил князь в сердце своим. Недаром кровь Палеологов текла в его жилах. Нужно начинать объединять-подчинять новые земли, а без добротного оружия и большой рати не сокрушить ни только Литву и Казанское ханство, но даже злых язычников, что обитают вокруг Урала. И в душе государя родилось новое легкое чувство счастья победы, когда копыта коней застучали по мостовой, что вела прямо в Пушкарный двор.

– Великий князь приближается!

– Государь к нам пожаловал!

Загалдели-закружились мастера да подмастерья, побросали работы, заспешили кто в чем к воротам, построились в ряд. А когда Василий Иванович ступил во двор, разом шапки посняли, склонились низко. Государь, высокий молодой, статный, вглядывался поверх голов на кузницы да клетушки-ночлежки для работников, опирался на тяжелый посох, без коего великий князь и не князь, ноздрями ощущал запахи гари, раскаленного железа да пороха, с гордостью думал: «Вот откуда произрастает вся мощь государства!» К нему с явным раболепием подбежал Иван Берсень-Беклемишев, что-то тихо молвил, но Василий Иванович знаком велел убираться ему, а после, обратившись к работникам Пушкарного двора, спросил:

– Кто из вас главные мастера?

Из толпы рабочих выступили двое: один высокий, жилистый, с седеющей бородой, другой крепкий, невысокий, рыжий, от обоих несло гарью и копотью, грязные пальцы говорили о неведь сколько проделанной работе, однако глаза их – живые, любопытные сказывали о непростоном волевом характере. Государю понравились мастера: по крайней мере, лица их были открыты, без доли лицемерного раболепия бояр, с такими, знал он, следует говорить прямо, начистоту. Подойдя к ним, дыхнул простым вопросом:

– Как звать-то вас, золотые мастера?

Тот, что повыше, почесав по-простецкому затылок, ответил:

– Моё имя Парамон, а товарищ мой Стёпа.

– По отцу вас как величать?

– Я-то Иванович, а вот он Степан Петрович.

Василий Иванович усмехнулся: уж очень забавляла его речь простого люда – то совсем иное, нежели велеречивые изыскания высоких мужей при Думе: там не то, что слова, взгляда лишнего не поднимут, бояться гнева государева. Великий князь окинул взором стоящих в ряд рабочих, кивнул им, без слов давая понять, чтобы приступали к работам, а сам в окружении главных мастеров пошел осматривать готовые, отлитые уже в форму мортиры да пищали с прилегающимися к ним свинцовыми пулями. Парамон и Степан идут радостные, гордые от оказанной им чести: не каждый день беседует с ними государь. Парамон, шагая чуть впереди товарища, не замолкая ни на минуту, рассказывал обо всем, что происходило на Пушкарном дворе:

– Вот там, – указывал рукой в сторону небольшого строения, откуда доносился стук молотов да исходила черная копоть, – эта кузница, их здесь много и в каждой трудятся то двое-трое кузнецов. А эти избы – за кузницами, жилые дома для рабочего люда: нас здесь много, а сколько отроков безусых приходят обучаться литейному делу – не счесть числа.

– Московии надобны умелые мастера, а не каждый желающий. Какой прок от одного лишь любопытства? – строго ответил Василий Иванович, подходя к ряду новых пушей.

Недавно отлитые, блестели они в свете утреннего солнца, красиво, словно камни какие! Государь снял рукавицу, коснулся ладонью холодного металла, мягко, с любовью погладил: так матери не ласкают своих детей, как он мортиры! А Парамон, явно замечая неподдельный интерес князя, молвил:

– То, государь, работы наши новые, гордость Пушкарного двора. Отправимся на ворогов, шибанут так, что земля задрожит...

Василий Иванович обернулся к мастеру, раздраженно, но без гнева ответил:

– Тебе бы, Парамон Иванович, в худой час молчать, в добрый молвить. Пушки и взаправду прекрасной работы, да только мало их слишком. Дабы всех супостатов победить, нужно вдесятеро больше, уразумел?

Парамон густо покраснел: думал удивить-обрадовать великого князя, а вышло наоборот, хорошо еще, что головы не лишился за глупость свою – чего доброго, государь нравом крут, за любую провинность готов казнить любого.

Сам Василий Иванович душой и сердцем находился далеко ото всех, позабыл и о боярах, что дожидались его в палатах великокняжеских, и простых, наивных в честности своей мастеров-литейщиков – думы его высокие были устремлены ввысь, слишком великие для остального люда: вот он – Пушкарный двор, вот пушки, пищали, мечи, копья – самое ценное для величия государства. Вот откуда начинается Русь, вот то место, где берет начало царское единовластие!

4. Воевода нижегородский

На высоком крыльце княжеских теремов, воздев очи в пасмурные хмурые небеса, из которых обильно падал на дальние земли снег, стоял высокий боярин. Кутаясь от холода в длиннополюю соболью шубу, человек плотнее надвинул шапку на густые с проседью волосы, хрипло кашлянул в кулак. А снег все падал и падал, накрыл пушистыми шапками крыши домов да маковки церквей, сгладил все дальние холмы и леса единой бледной полосой. Мороз крепчает, с каждым днем становится холоднее и холоднее.

Загрустил боярин, вспомнил последние слова умирающего отца, чувствовал не тогда, а сейчас ледяное прикосновение дрожащих старческих перстов темени, слышал хриплое дыхание и тихий шепот последних наставлений и благословения:

– Я ухожу, сын мой. Оставляю тебя и дочь в столь тяжкое время. Отныне ты, Иван, попечитель рода нашего. Не забывай о долге своем и помни заповеди Его, не сходи с праведной дороги. Благословляю тебя, сыне, и тебя, дочь мою, на долгую жизнь. Храните память о родителях ваших.

Затрепетали тогда пламени свечей все разом, будто кто невидимый-незримый вошел в светлицу к умирающему. Над крышей раздался тревожно-пронзительный крик птицы и вдруг все стихло. Отец был мертв и в носу разом закрался зловещий запах смерти. Пережили тогда и похороны, и поминки вместе с сестрой, а позже сменился великий князь, было и целование креста и присяга на верное служение. Государь Василий Иванович, резкий, решительный, укрепляя собственное величие на Руси, разослал самых верных из бояр да князей по городам да весям, а тех же, в ком веры не было, оставил при себе на Москве для присмотра их недобрых тайн. Его, Ивана Васильевича Хабар-Симского, государь отослал в Нижний Новгород воеводой, перед дорогой строго-настрога наказав ему держать город, охранять его от супостатов-басурман и иных племен, что с давних пор проливали русскую кровь. Нижегородцы радужно встретили воеводу, с хлебом и солью вышли встречать его задолго до городской стены. Въехал Иван Васильевич под колокольный звон и радостные крики толпы, сам архиепископ вышел со своей братией навстречу, молодые монахи и диаконы несли хоругви да иконы в золотых кладях для благословения боярина. Хабар-Симский вытирал катившиеся слезы тыльной стороной ладони, ласково принимал угощение, с глубоким сердцем благодарности оставлял за городскими воротами тайную обиду на великого князя. Должно быть, неспроста Василий за ним Нижний Новгород, ведь кто как ни ему, Ивану Хабар-Симскому, сохранить русские земли на востоке, отбить неверных казанцев за Урал.

На крыльцо взобрался тучный мужчина. По прояснившемуся лику Хабар-Симского можно было догадаться, что он уже давно дожидается этого человека.

– Ну, приехали, Семен Никитич?

– Иван Васильевич, посланные в разведку уж здесь внизу дожидаются тебя.

– Какие вести: добрые аль худые?

– Того не ведаю, боярин. Посланцы скажут тебе лишь.

С минуту Хабар-Симский колебался: спуститься сейчас или подождать? Ежели поспешит – уронит собственное величие, задержится – унизит верных людей. Ни того, ни другого не бывать. Достав из мешочка, что висел у него на груди, серебряную монету, Иван Васильевич протянул ее Семену, сказал:

– То тебе... за верную службу.

– Да благословит тебя Господь, боярин, – Семен Никитич приложил дар к груди, потом спрятал в складках кафтана, но не выказал ни раболепия, ни безумной преданности, за что и был любим воеводой.

Иван Васильевич спустился в горницу – просторную, с высокими расписными потолками. Там уж, переминаясь с ноги на ногу, ожидали его двое молодцев, по исхудалым лицам которых обильно стекал пот. Как увидели воеводу – шапки долой, низкий поклон; любили и уважали Хабар-Симского за доблесть его и редкое справедливое отношение от простого холопа до ближнего советника.

– Разрешаю слово молвить, – проговорил Иван Васильевич, усаживаясь на высокий резной стул.

Из посланцев выступил вперед рослый плечистый юноша, утер веснушчатое лицо шапкой, ответил:

– Худо, боярин. Узнали про то, что к городу движется татарское воинство во главе с самим казанским ханом Мухаммед-Амином. Слишком много у поганцев оружия, да и самих их орда целая.

«Как складно-то говорит», – подумал про себя боярин, вслух сказал:

– Идите домой, отдыхайте, а когда пойдем на басурман, тогда приходите.

Юноша на радостях, что ворочаются домой, даже позабыли о надвигающейся опасности, низко склонились и ушли. За спиной безмолвно стоял Семен Никитич, ожидал приказа.

– Плохи наши дела, не удержим города, – словно не сам, а кто-то иной внутри его самого молвил Хабар-Симский.

– Что делать ныне, боярин?

– Созывай на совет всех, кого сможешь: бояр, служивых, церковников. Вместе станем о защите думать да о том, как живыми остаться. Татары эти не самоеды, что на севере, драться они умеют. Ежели не защитим жён да детей русских, на том свете будем держать ответ пред Богом.

Сказал это и затих; думы его сами собой обратились к тихому родному дому и тому лишь, что так дорого для него. Вспомнил дом свой, где не был с тех самых пор, как пришло известие о назначении его на воеводство Нижнего Новгорода. В сие время словно волна ясного, неизменно-родимого света встал пред мысленным взором терем о трех ярусах с большим подворьем: здесь были и баня, и конюшня, и кузница, и небольшая часовня – маленький городок с шумном граде! Особенно любо сердцу боярскому стала Алёна, дочь Демида и Емилии – некое напоминание о дружбе и предательстве. Некогда еще по приказу Ивана Васильевича Хабар-Симский взял на себя попечительство над бедной сиротой. Словно умоляя совесть, давал все необходимое для ее существования, но что такое серебряные монеты по сравнению с человеческой жизнью? Разве не по его вине Алёна лишилась единственной поддержки и опоры? Разве не по его вине Емилия наложила на себя руки, лишив тем самым себя саму вечного покаяния и рая? Тогда владыко не разрешил хоронить несчастную вдову на кладбище, воспретил даже по-христиански водрузить крест на земле, в которую закапали ее словно собаку, сколько бы он, Иван Симский, не молил? И потом, всякий раз, как он встречался со стариками, что опекали Аленушку, давал им мешочек с деньгами, сладостно осознавая, что искупил вину свою, но позже, стоило только выйти за калитку, ощущал внутри – где глубоко в сердце, нетерпимый страх и горечь, будто кто-то живой-невидимый нашептывал слова раскаяния. Минуло время, старики упокоились с миром и тогда решил Иван Хабар-Симский взять тринадцатилетнюю Аленку к себе, якобы заботясь о сирота. Поначалу отроковица жила на подворье боярском вместе с остальными санными девками да женщинами постарше: стряпухами, прачками, мастерицами. И даже в то время молодой боярин выделял ее из сонмы прислуги – то сладостью какой угостит, то гостинец привезет: ленты для волос, гребешки, бусы. Шипели, злорадствовали бабы в старом гневе, девки по углам перешептывались, с завистью наблюдая, как изо дня в день хорошеет Алёна.

Минуло еще два года и тайны сердца молодого боярина открылись пред лицом девицы. Покинула она убогое жилище прислуги, поселилась в тереме хозяйском, правда, светелку ей

отвели на первом этаже – не замарать честь девичью непорочную. Сам Хабар-Симский подарил ей котенка, чтобы не скучала она днями напролет в его отсутствии, а сам спешил по делам государственным да воинским. По приезду в родные стены все также встречала его Алена, румяная, белокожая, с котиком на руках, а он возьмет ее под локоть, усадит подле себя на скамье, сукном покрытой, и глядит – рассматривает ее молодое нежно-знакомое где-то лицо.

– Как ты похожа на свою мать, – с умилением, на которое был способен, молвил боярин.

Девушка ничего не отвечала, лишь потупляла взор и плотнее прижимала к себе кота Мурлыку, боялась заплакать. А Иван Хабар-Симский гладил ее по руке, по щекам, с упоительным чувством ощущая хлынувшее вдруг желание.

Постепенно, минуя седмицы и месяца, рухнула между ними глухая каменная стена, разделяющая столь различных людей – сына думного боярина и дочь обычного ратника. Алена сама, того не замечая, прильнула к молодому Хабар-Симскому, жаркими чувствами одарила его холодно-каменное, слишком повзрослевшее лицо. С пылающим жаром боярин брал ее на руки и относил к себе в почивальню, с нежностью расплетал белокурую девичью косу. И с тех пор они перестали быть друг для друга господином и сиротой, невероятная дружба скрепляла их сердца, и не было в том ничего зазорного, ведь кто мог осудить их?

По завету отца и долгу государевому оженули Ивана с Евдокией Владимировной Ховриной, сестрой главного государева казначея Дмитрия Владимировича Ховрина, дочерью Владимира Григорьевича Ховрина. Супруга была не столь красивая, сколь разумная и грамоте обученная. Он не любил ее, но по обычаю старины – а Симские все держались православной традиции, относился так, как требовала вера. Часто в мыслях сравнивал двух женщин и тут же находил ответ: с Алёнушкой мило было в покое, под пологом домашней тишины, нежным касанием ласкать ее ланиты, без участия слушая глупую простую болтовню. Иное дело Евдокия Владимировна – жесткая, статная, черты благородные острые, она окружила себя лучшими мастерицами, что готовили для нее наряды, самолично шила супругу кафтаны да рубахи с завидной ловкостью тонких перстов, а вечерами громко нараспев читала неграмотным женщинам притчи из Евангелия да изыскания святых отцов. С Иваном держалась осторожно, знала, когда молвить, а когда промолчать, без усилия могла поддержать любой разговор, оставаясь при этом как бы в тени женского покровы. Хабару-Симскому было любо коротать с ней вечера перед сном, забывался он и о службе, и о некогда отчужденности между ними. Минувший год и Евдокия понесла первенца – отраду для боярина, названного в честь деда Василием, как было тогда заведено в высших кругах, а через некоторое время подарила еще одного сына – Ивана. Полюбилась тогда супруга, если не как ворожея-краса, то как сестра и лучший друг. Алена же перешла в постельничие Евдокии – не из-за высоких чувств боярина, а по воле долга и совести – не смел же он – как человек – выставить ту, которая лишилась отца и матери еще в отрочестве.

Теплые, покрытые завесой семейной тайны, воспоминания были прерваны стуком в дверь. Один из прислужников доложил, что прибыли городские бояре, советники и дьяки, ждут в сенях. Медленно, с грустью, вздохнул Иван Васильевич, махнул рукой:

– Пускай входят.

Вошли бояре – дородные, в богато изукрашенных опашнях, застучали о каменный пол кованые каблуки сапог и посохи. Поклонились Хабар-Симскому в ноги, сотворили перед Образом крестное знамя – без того ни одного гостя не усадят за стол хозяев. Горлатные шапки долой – грех трапезничать с покрытой головой, уселись после воеводы за длинный дубовый стол на скамьи. Тут же кравчий разлил всем вина в кубки, расставил перед каждым блюдо с жареным поросенком. Иван Васильевич приказал накрыть неспроста – задобрить хотел бояр, получив тем самым поддержку от них, явно осознавал, что ныне не мог ручаться за победу: государь все равно не поспеет с подмогой, а задержать под стенами татар был долг его перед Москвой.

– Собрал я вас, великие мужи города, для дел государственных важных. Двигается на земли наши полчища казанцев во главе с самим ханом. Что делать будем: укреплять стены, выйти и дать супостатам боя либо заключить мир? – сказал Симский не просто так: пусть бояре подумают, может, чего умного скажут.

Заскрипели скамьи, повис в зале разноголосый гул – как рои пчел загалдели советники, перекрикивали друг друга.

– Смерть нехристям! – раздались голоса.

А Иван Васильевич радовался в глубине души своей – никто из них не замолвился о сдаче либо перемирии, сильна, видать, была ненависть к татарам.

– Мне надобно знать, как поступить ныне, ибо времени не осталось. Дать ли решительный бой в поле аль укрепить городскую стену, стоять на ней до последнего? – боярин надумал уже, как все будет еще до вече, просто хотел услышать правдивость думам своим.

Голос первым подал молодой светлокудрый юноша вопреки обычаем, не стал дожидаться старших, да удалю своей выиграл только!

– Иван Васильевич, да тут и гадать нечего: укреплять со всех сторон град надобно, укрыть под стены его крестьян, что могут стать жертвами неверных. Какой прок в том, ежели мы всеми поляжем в неравном бою? Кто тогда защитит наших жен да детей?

Зашептались старики, злобно оглядывали молодца, что один за всех решил военный вопрос. Где это видано, чтобы безусые молвили слово без дозволения старших?

– Решил один за остальных, сосунок? – шепнул один из новгородских бояр, наклонившись к его уху.

Видел недовольство Хабар-Симский, от гнева чуть кубок не метнул в сторону собравшихся, но вовремя спохватился, сказал:

– Не в добрый час затеяли смуту, бояре, когда враг – грозный, безжалостный, поблизости. Вы злитесь, что не старикам первым дали слово, так кто же в том виноват, ежели вы молчите? – «глупцы вы, в собственной гордыне растерявшие последнюю мудрост», хотел было добавить воевода, но осекся: не время браниться, заместо того обратился к юноше, – эй, молодец, как имя твоё?

Тот в смущении потупил взор, словно вину какую имел за душой, заалели белые щёки. Закусив нижнюю губу на секунду, глубоко вздохнул и ответил:

– Звать-то меня Михаил, по отцу Савельевич.

– Годков-то сколько тебе, Михаил Савельевич?

– Уж за семнадцать перевалило.

– И то хорошо. Ты еще молод, но уже не мальчик, посему будешь моей правой рукой. Только помни: война не то же, что забавы мальчишечьи, тут кровь людскую проливать надобно.

– Мужчина, боярин, для того и рожден, чтобы быть защитником земли своей. Не с женщин же спросит за то Господь на суде.

– Ин ладно. Порешили, – Иван Васильевич стукнул посохом о пол, встал со скамьи. За ним следом поднялись и остальные. Тяжко стало на сердце, горечью залило в душе, боялись они не столько осады и смерти, сколь голода – страшно становилось при мысли о сотнях мертвецов и запахе человеческого мяса.

Вечером того же дня отписался Иван Васильевич в Москву, просил государя посабить ратниками, ежели татары начнут жечь Нижний Новгород, а у самого руки тряслись как при лихорадке: что ждет их, ежели Василий Иванович откажет в помощи?

Не прошло и двух дней, как запылала, покрылась красно-желтыми огненными языками пламени деревни и селения близ города. Крестьяне с повозками, прикрывая от дыма и копоти детей, уходили под защиту Нижнего Новгорода, со слезами на глазах и страхом в груди осматривали сожженные дома свои – не врагами, своими. Опасались более татар и ногайцев бояр

и ратников, чего станет с них: в кандалы да в рабство басурманское? Кричали бабы, замахивались на стрельцов, а те успокаивали их, вселяли надежду милостью княжеской.

– Полно-де, женщины, оплакивать избы свои. Вот прогоним нехристей, так и построим вам новые дома заместо погорелых. В том Иван Васильевич явился порукой, пред Господом слово дал.

Прекращали тогда крестьянки причитать – обещание Богу сильнее наказа боярского. Укрыл прибывших Нижний Новгород, монастыри да подворья купеческие дали пристанища самым обездоленным: старикам, малым детям, непраздным женам, остальным пришлось довольствоваться тем, чем придется, мужики да юнцы сами попросились в ополчение, благо, Хабар-Симский остро нуждался в мужских руках.

А иго татарское наступало несметными полчищами к русскому городу, на горизонте реяли уже, виднелись невооруженным глазом бунчуки да конница. Прохаживаясь по зубчатой стене в компании с Михаилом Савельевичем, воевода то и дело вопрошал:

– Много их, поганных, удержим ли город?

– Ежели отбиваться станем, удержим.

– А запасы? Сколько мы продержимся: с месяца-два? А голод наступит? Не забывай, здесь схоронились женщины да детки малые, поднимутся крики и вопли, начнется война душевная в самих стенах.

– Не забывай, боярин, про мордву и иные обитающие в здешних краях племенах. Уж они-то в услугу за жизнь покажут все тайные тропы татарам, не станут гибнуть за нас.

– Молодец, Миша, «порадовал» ты меня «доброй вестью», – Иван Васильевич похлопал юношу по плечу своей тяжелой рукой, добавил, – но ты дело говоришь. Покуда время есть, возьми с собой самых ловких из ратников не более трех человек, скачите по лесам, ловите каждого из дикарей, кто бы он ни был и живыми, слышишь меня, живыми доставляйте ко мне!

Михаил дернулся всем телом, изменился в лице. Посматривая на воеводу снизу вверх, впервой остро ощутил в глубине души всю тяжкую участь военного дела: правы были старики – война не то, что детские забавы, тут не знаешь, что хуже: погибнуть на стене под раскаты ядерных снарядов и грохота пушек либо быть зарезанным каким-нибудь мордвином в глуши лесной, что оставит тело русского на съедение зверям. Делать было нечего. Перекрестился молодой ратник, поклялся исполнить волю боярскую, рискуя собственной жизнью ради жизни сотен православных людей. Собрал наспех двоих отчаянных головушек, те только и рады были пойти на столь опасное деяние – все же лучше, чем отсиживаться за стенами, ожидая прихода неприятеля. Той же ночью поймали мордвина, привели на допрос к воеводе. Хабар-Симский сидел ныне не в горнице, а в темной избе неподалеку от темницы не ради себя, а лишь с единственной целью – напугать пленника пытками, дабы развязать ему язык.

Ввели мордвина двое ратников, бросили на каменный пол к ногам боярина. Пленник поднял голову, без страха и злобы – только любопытства ради взглянул на Ивана Васильевича, усмехнулся.

– Кто ты? Как звать? – спросил воевода.

Мордвин скосил взор в сторону, ничего не ответил.

– Ты понимаешь русскую речь? Дикарь, отвечай! – Хабар-Симский встал, вплотную подошел к нему, схватил за ворот одежды, сильно дернул к себе.

Мордвин продолжал молчать, лишь рукой прижимал что-то к груди. Стоящий неподалеку Михаил Савельевич воскликнул:

– Притворяется, боярин! Когда поймали в лесу, баял по-нашему не хуже нас самих.

– Ну? – снова подступил к пленному Хабар-Симский. – Будешь отвечать аль на дыбе язык развяжешь? И... что ты прячешь на груди?

Боярин дернул его руку, но мордвин резко отшатнулся в сторону, воскликнул на русскому, неправильно произнося слова:

– Не надобно на дыбу, не враг я вам!

– Так, так, – протянул воевода, вновь усаживаясь на скамью, – значит, ты все-таки говоришь по-нашему.

– Господин многое хочет знать, но мало слушает, – мордвин выпрямился, с хитростью взглянул на боярина.

– Я слушаю тебя.

– Господин желает узнать, что на груди моей? Так вот гляди! – пленник распахнул ворот, под рубахой на серебряной цепочке висел тельник, тускло при свете свечей поблескивало святое распятие. – Крещенный я, господин, крещенный вашим священником, жена моя из ваших, русских.

– Как имя твое?

– Иван, мое новое имя Иван, то в крещении. Прежнее мое не скажу, не надобно того.

– Ладно, Иван, – махнул рукой Хабар-Симский, – хочешь держать это в тайне, держи, к делу то не имеет значения. Но желаю узнать от тебя: перешел ли на сторону татар твой народ аль нет? Ты христианин и посему по долгу своему обязан помогать нам.

– Предать свой народ?

– Ежели не скажешь правду, предашь единоверцев, а то больший грех, ты не находишь?

– Господин! – воскликнул мордвин, упав на колени перед боярином, в унижении сложив ладони. – Проси чего желаешь, бери, что хочешь, только прошу, не заставляй меня предавать свой народ!

Хабар-Симский глядел на него сверху вниз, в душе не чувствовал ни жалости, ни милосердия к чужому человеку, в голове было лишь одно – страх за свой русский народ, ради которого он столько рисковал жизнью и сколько берег себя. Вопреки ожиданиям Ивана, молвил:

– Послушай, я позвал тебя ради дела, а не ляды попусту точить: скажи лишь – много татар?

– Много, господин, и вооружены они хорошо.

– Молодец, спасибо за новость. А теперь скажи, твои там, у хана в ставке или же прячутся по лесам?

Ничего не ответил на то пленник, только, побледнев еще более, потупил взор. Иван Васильевич и без слов понял всю правду, оттого и сказал:

– Значит, к Мухамедке переметнулись, а не под защиту нашего князя. Хорошо, – указал рукой, обратясь к Михаилу Савельевичу, – отведи, Миша, его. Накорми да спать уложи, а самому глаз с Ивана не спускать.

Молодой человек нахлобучил шапку на голову, с задорным смешком схватил под локоть мордвина, потащил его к выходу. Суровым взором проводил их Хабар-Симский; тяжкая дума окутала его помыслы о грядущей войне. Враг наступает сильный, в гневе безжалостный. Ежели не придет помощь от государя, быть беде: не удержится Нижний Новгород, погорит от рук басурманских, запольхают горячим пламенем дома, амбары да храмы, много погибнет православного люда. От одной такой мысли хотелось плакать, рвать на себе волосы, но и того нельзя: воевода обязан быть первым среди ратников, а не уподобляться слабой женщине?

Мухаммед-Эмин восседал на рослом аргмаке, из-под тонкой ладони всматривался на стены богатого города. Там, за толстыми стенами, возвышались храмы и колокольни, ярче солнца блестели-переливались в лучах маковки позолоченные. Богатая добыча, новые сильные рабы, прекрасные ясноглазые женщины! О, Аллах, даруй победу над гяурами! Молитвенно подняв очи к холодным зимним небесам, хан в предвкушении грядущей победы позабыл все на свете, не осознал, не понял, что грех делить шкуру неубитого медведя – Аллах не любит самодеянных гордецов, ибо будущее известно лишь Ему.

Рядом с ним нетерпеливо теребил поводья старый мулла в зеленой шелковой чалме. Ведал он переменчивый нрав хана, в глубине души ненавидел и презирал его: зачем так долго ждать, когда можно, свершив один дневной переход, наскоком взять стены Нижнего Новгорода, выжечь все дотла, а неверных либо под нож, либо на невольничий рынок в Багдад или Дамаск. Но нет, выжидает чего-то...

Натянув поводья вороного рысака, хан повернул к лагерю, где в котлах воины готовили еду. За ним веренцей потянулись телохранители, священнослужители, слуги. Возле большого ханского шатра, между рядами бунчуков, шаманы разжигали костры, готовили жертвенных баранов. Мухаммед-Эмин легкой походкой подошел к ним, спросил:

– Когда начнем гадание?

– Сейчас, великий хан, – ответил главный старый шаман с обветренным, темным лицом, в его узких черных глазах не было ни раболепия, ни страха, да и зачем бояться людей, когда можешь общаться с самими духами?

Стоящий позади Мухаммед-Эмина имам, наклонился, прошептал:

– Не стоит мусульманину обращать лицо к безбожному язычеству – грех это и мерзость пред Богом, ибо сказано в Коране, что не тот из верующих, кто гадает и для кого гадают, кто ходит к предсказателям и верят им. Будущее принадлежит лишь Аллаху.

Хан обернулся к говорившему и, усмехнувшись, ответил:

– Молчи, старик! Кто здесь хан: ты или я?

– Ты, господин, но одумайся, что ты делаешь.

– Если это грех, то отвечать мне, а тебе приказываю идти вон и молиться – то приказ!

– Как пожелаешь, мой хан, – с достоинством поклонился имам, в мыслях возразив: «Пусть шайтан заберет тебя в ад».

Жертвенные костры взметнулись до самих небес, молодые шаманы порезали баранов, разложили вокруг пламени печень, окропили жертвенной кровью языческий алтарь. Старый шаман на неведомом языке принялся прыгать вокруг огня, зловеще звенели многочисленные подвязки в виде зверей и птиц на одеянии шамана, летели искры в разные стороны.

Наблюдавшие из шатра-мечети имамы и муллы за сим действием, ужасались, переговаривались меж собой:

– Не к добру затеял хан гадание.

– Теперь Аллах отвернется от нас.

– Господи, пусть сменится гнев Твой на милость.

Шаман, закончив заклинания в призывании духов лесов, неба и земли, только посмотрел на печень животного, взглянул на Мухаммед-Эмина тяжелым взором, проговорил:

– Хан, духи говорят, что победы тебе не ведать, возвратишься ты домой ни с чем.

Разозлился казанский правитель, сгреб шамана за ворот, затряс перед собой:

– Гадай еще и еще старик, режь овец сколько пожелаешь, но чтобы гадание стало благополучным.

Ничего не ответил шаман, с тяжким сердцем исполнил ханскую волю и лишь на пятый раз духи возвестили о победе над урусутами. Обрадовался Мухаммед-Эмин, одарил своей щедрой рукой хранителей тайн с духами и тут же велел войску спешно собираться на штурм Нижнего Новгорода.

Вглядывался вдаль Иван Хабар-Симский, щурил глаза. Уже отчетливо виднелись татарские обозы, их знамена и бунчуки, спрашивал самого себя:

– Сколько же их проклятых?

За плечом боярина стоял Иван – широкоплечий, низкорослый, лицо круглое, с выступающими скулами. Он-то и ответил:

– Туменов два-три, не меньше.

– Тебе-то откуда знать?

– Видел, сам видел. Мой народ под стяг татарский перешел супротив вас, русских, а я – православный, взял жену в охапку и к вам, да только не успел дойти, как твои молодцы меня в полон взяли.

Хабар-Симский дернул плечом, про себя подумал: «Как складно мордвин толкует», а вслух добавил, не поворачиваясь к нему лицом:

– Ежели ты, Иван, действуешь тако же, как молвишь, то будет поручение от меня к тебе. Исполнишь все, как велю, отпущу на все четыре стороны.

– А Любашу мою, женку ненаглядную, отдадите?

– И женку отдадим, и милостью одарим.

Загорелись у мордвина глаза, даже не знал заранее, какое поручение, а в мечтах своих видел себя богачем, по правую руку сидящего от боярина. Хабар-Симский подошел к коню, сказал:

– Следуй за мной, узнаешь поручение.

В княжеском тереме вручил воевода Ивану две грамоты: одна простая, другая восковой печатью скрепленная, протянул их, ответил:

– Бери в моей конюшне двух коней покрепче да скачи без остановки на Москву дву-о-конь. Передашь эту грамоту великому князю Василию Ивановичу, – протянул свернутую бумагу с печатью, добавил, – а эту грамотку от меня будешь показывать на заставах, где лошадей поменяешь, но помни: скачи словно ветер, загони хоть десяток коней, но поспеи к завтрашнему дню.

Иван засунул за пазуху письма боярские, поклонился:

– Сделаю, как жelaешь, боярин. Хоть ценой собственной жизни.

– Нет, Ваня, – покачал головой воевода, глаза его были грустно-печальными, – ты должен остаться вживых, – и дланью своей перекрестил его перед дорогой.

В тот же день тайными тропами выехал крещенный мордвин в сторону Москвы, тайное послание вез он государю.

Татарские полчища подошли к городским стенам, окружили их со всех сторон. Посыпались огнестрельные ядра и горшки с горючей смесью на жителей города, и тут и там запылали пожары – быстро возгаралось пламя посреди деревянных изб и домов. Прочно стояли святые каменные обитатели – туда пришли с пожитками обескровленные, раненные, вдовы и сироты, с утра до вечера жались к кострам, протягивали покрасневшие от холода руки к языкам пламени.

Иван Хабар-Симский не ел и не почивал, с утра до ночи носился в сопровождении ратников по улицам, собирал в дружину всех, кто мог держать оружие. Сильных, крепких мужей не хватало, приходилось брать на службу отроков от двенадцати лет и стариков – все они были полны решимости погибнуть, но не сдаться врагу. Глядел каждому из них в спину воевода, теребил поводья, еле сдерживая горечь слез, сердце сжималось с тоски при мысли о новых убиенных, о злобных безжалостных татарах.

– Не устоять нам, Миша, – молвил он иной раз Михаилу Савельевичу, что преданно оставался подле боярина, – мало мужчин в Нижнем Новгороде, а басурман полчища несметные. Страшусь я не за себя, а за жен да детей наших: уж не придется ли им узнать батоги и плен татарский?

– С Божьей помощью устоим, Иван Васильевич. Мордвин уж почти как седмицу уехал.

– Да... Иван, как он там? Уж не погиб ли в дороге? – Хабар-Симский вытер тыльной стороной руки увлажнившиеся глаза, вспомнил о мордвине, что рискнул жизнью своей ради помощи многим.

– Ежели Господу угодно, то доберется до Первопрестольной, передаст весточку государю, – сказал сие юноша и перекрестился.

– Поспешил я, – тихо, в укор самому себе молвил воевода, вложив в сие слова лишь ему одному понятный смысл.

С хмурых небес хлопьями падал снег, сокрыл пеленой татарский стан. Хан приказал своим воинам отступить до окончания снегопада и это-то спасло хоть на время десятки русских жизней – видать, на сей раз Бог и вправду решил быть на стороне православных. Впервой за последнее время Хабар-Симский воротился домой, велел подавать есть. Только сел за стол, пригубил кубок с горячим сбитнем, как в горницу вошел испуганный холоп, поклонился, скинув шапку.

– Чего тебе надобно? – пробасил воевода, без всякой злобы взглянув на служку из-под нависших бровей.

– Боярин, вся глава города пришла к тебе, собралась в сенях, твоего веления дожидается.

– Чего им еще от меня надобно? – Иван Васильевич кинул в тарелку не обглоданную до конца куриную ногу, махнул рукой. – Ин ладно, пускай входят.

Холоп поклонился, ринулся вон исполнять повеление и вот уже горница наполнилась народом: нижегородские князья, бояре, казначеи, духовенство, привнеся с собой запах зимы. Встали в ряд, поклонились Хабар-Симскому как равному. Воевода встал, усадил их на скамьи, проявляя уважение, только потом спросил:

– По какой нужде пожаловали в столь позднее время?

Ответил за всех самый знатный и самый высокий из бояр, Петр Григорьевич:

– Иван Васильевич, худо дело, худо. Убитых несколько десятков, если не сотен, хоронить не успеваем. Город наполнен женщинами и младенцами, крик и стенания повсюду. Мужиков не хватает на стенах, а одним нашим ратникам не сдержать натиска поганых. Что прикажешь, боярин?

Хабар-Симский, заложив руки за спину, заходил туда-сюда, собираясь с мыслями. Прав Петр Григорьевич, надобно что-то делать, иначе в самом Нижнем Новгороде поселится такой страх, что скосит живых быстрее пушек противника. На ум припомнилась городская темница – там в застенках томились не одни лишь лиходеи да тати, но также пленные литвины, кои не питали никаких надежд на возвращение. Да, пленные, им все одно помирать, так неужели не пообещать им свободу за спасение Нижнего Новгорода? Хабар-Симский даже просветлел от подобной мысли, повернувшись лицом к собравшимся, ответил:

– В застенках темницы мы держим пленных литвинов, взятых еще при ведрошском сражении. Повелеваю: освободить всех заключенных и вооружить их, поставить на стены города.

– Не опасно ли, боярин, разбойникам поручать сие? – спросил кто-то.

– Иного выхода нет, а иначе нам не устоять, – таков был ответ.

Потекли дни затянувшейся осады. Мухаммед-Эмин, так надеявшийся взять Нижний Новгород с первого броска, ныне осознал, что не ранее весны может случиться чудо. Литвины и русские, коим была дарована свобода, с благодарностью и крестным целованием приняли присягу победить или погибнуть. С воодушевлением стреляли они из пушек и пищалей по татарскому лагерю, с радостными возгласами скидывали взбирающихся на стены супостатов. Ударили морозы и порешили русские схитрить: облили ночью городские стены и ворота водой, а к утру они крепко-накрепко примерзли, покрывшись толстым слоем льда; и сколько татары ни старались пробить стены, но ничего у них не выходило. А русские ратники сверху смеялись вслед вражеским воинам, потрясая оружием, выкрикивали непристойные словечки. Приободрился Нижний Новгород, ожил. Женщины и дети уже не плакали в молитвах, а выходили на улицы ради помощи ратникам: таскали для них воду, пекли горячие хлеба, и вот уже и тут и там между молодыми воинами и девицами завязывались дружеские-полюбовные разговоры, слышались смех и хохот.

Не прошло и двух дней, как заметно потеплело, вот тогда-то Мухаммед-Эмин и велел подкатить к стенам тяжелые мортиры, установить их вместо поженных деревенских изб. Глядел на врага со стены Иван Васильевич Хабар-Симский, прищурившись, ожидал увидеть на линии горизонта московское воинство, но никто так и не пришел на помощь: должно быть, Иван не добрался до столицы, попал в плен либо решил обмануть его доверие – ежели последнее, то будь он проклят!

– Я ошибся, – тихо сказал самому себе воевода, не обращаясь ни к кому более, но Михаил, что безотлучно находился подле него, молвил:

– Ты не ошибся, боярин, враг не долго пробудет под стенами, благо, Нижний Новгород хорошо укреплен.

– Да я не о том толкую, Миша. Ныне понимаю, что государь Василий Иванович не пришлет нам подмогу. Одним нам предстоит отбиваться от басурман, – и только кончил речь, как в округе раздался раскат грома, воронье разлетелось в страхе с деревьев.

Воевода еще не понял, что стряслось – так неожиданно все произошло, но верный Михаил с силой дернул его за руку вниз, с отчаянием крикнул:

– Ложись, боярин!

И тут над их головами пролетело ядро, упало, раздался взрыв. Первое мгновение ничего не было слышно, стоял лишь звон в ушах. С усилием воли поднялся Иван Васильевич, взглянул на окружающий его мир: подле сидел на корточках Михаил, зажимал ладонью окровавленный висок, чуть поодаль лежали окровавленные тела ратников и простых горожан, не вовремя пришедших на помощь, на земле в луже крови лежало тело собаки с оторванной головой, а возле котла распростерлась женщина – не успела, бедная, скрыться от удара, рука так и осталась держать большую ложку.

Михаил Савельевич перекрестился, пальцы его тряслись. А Хабар-Симский не сделал ни одного движения – силы так и оставили его, сказал только:

– Ну держитесь, поганые, мало не покажется.

В тот же день со стороны Нижнего Новгорода в татарский стан полетели заряды, и тут и там запылали шатры, заржали кони, заметались люди. В тот миг татары вслед послали свои ядра, порушили несколько деревянных домов.

К вечеру бои прекратились; преимущества не было ни с той, ни с другой стороны, понимали противники: невозможно полонить город, невозможно заставить врага убираться восвояси.

Иван Хабар-Симский почивал дома после горячки – видать, сильно возымело на него гибель десятки людей, чего ранее с ним никогда не бывало. Вдруг под утро, когда время балансирует между темнотой и светом, боярина поднял Семен Никитич. С заженной свечой склонился над воеводой, сказал:

– Просыпайся, Иван Васильевич, дело срочное.

– Чего тебе надобно? – находясь между сном и явью, хриплым голосом спросил тот.

– Скорее взгляни за город. Татары уходят!

– Уходят?! – воскликнул Хабар-Симский – сон как рукой сняло.

Умывшись, наспех оделся, выбежал из дома. У ворот его дождался конь. У бойницах тех стен, что окружали город, столпился народ, с замиранием сердца и ликованием в голосе провожали уходящее войско неприятеля. Завидев воеводу, люд расступился, дав ему дорогу. Иван Васильевич с завидной ловкостью, словно ему вернули отроческие годы, взобрался к зубчатому выступу стены и ахнул, увидев поистине чудо: татары собирали свой лагерь, спешно понукали лошадей, а ближе к лесу, в лучах утреннего солнца, над посеребренным белоснежным снегом реяли хоругви и золотые стяги московского войска. Видать, Иван и взаправду решил помочь не своим даже, а чужим – русским.

– Спасибо Тебе, Господи, – прошептал Хабар-Симский и перекрестился, по его щекам текли слезы безудержной радости.

5. Награда

Нижегородцы радостно встретили московское воинство, с хлебом и солью вышли встречать помощников своих. Потом похоронили, оплакали погибших и воротились к превычной, уже новой, жизни. Само московское войско прибыло во главе с великокняжеским братом Андреем Ивановичем, которому государь Василий всецело доверял и которому дал опасное, но великое дело – прогнать неверных татар с русской земли. Когда только Иван, заручившись поддержкой и грамотой Хабар-Симского, въехал в Москву, его тут же окружили стрелецкие головы, связали, поволокли было в пыточную: мол, кто таков да откуда, как вдруг Иван достал из-за пазухи свернутый пергамент с боярской печатью – как талисманом загородился им, воскликнул:

– Вот грамота от Ивана Васильевича, воеводы нижегородского, к самому великому государю!

Его бы убили да только решили сперва доложить о том Василию Ивановичу. Великий князь через дьяка услышал о судьбе Нижнего Новгорода, еще пуще обозлился на казанцев. В тот же день собрал совет думных бояр, полдня спорили-рядили, как быть, последним высказался самый младший из государевых братьев, Андрей – князь старицкий и волокамский:

– Сдается мне, что Иван Васильевич просит о помощи супротив хана, надо бы помочь.

– Вот и порешили, – ответил государь, довольный младшим братом, – ты и пойдешь вызволять Нижний Новгород от врагов, на то даю тебе указ мой и средства на сбор рати.

Зашептались недовольно старые бояре, по углам притихли, затаив злобу на Василия Ивановича, да делать было нечего: пришлось им, утаив жадность в душе своей, открыть сундуки, снабдить воинов всем необходимым. Долго ли сказывать, что основные расходы великий князь взял на себя?

Закончилось вече благословением митрополита на богоугодное дело – избавления православной земли от иноверцев, к вечеру разошлись все по своим теремам, оставив в Грановитой палате тугие, гнетущие думы. Сам государь оставался в главной зале, изукрашенной золотыми узорами, поглядывал в резные высокие окна, с грустью задумывался о дальнейшей судьбе своей: чего ожидать, когда враги со всех сторон, словно цепные псы, кидались на его земли? Как защитить, сохранить то государство, которое с таким усердием построил его отец и за которое пролито столько крови – не чужой – а своей, русской? Надобно бы, пока не поздно, забрать у Речи Посполитой Смоленск – исконно русский город, но ежели враг пришел с Востока – не те христиане другой ветви, как ляхи да литвины, а народ дикий, безжалостный, веры арабов, только в отлучаи от последних – не такие образованные. И чего Мухаммедке не сидится у себя в Казани? Уж был бы смиренный да тихий, глядишь, и подписал бы князь урусов мирный договор с ним, охранял бы купцов заморских, что издавна протопали дороги от Китая и Хорезма до Волги и Италии. Теперь стоит повернуть пушки и пищали в сторону Казанского ханства, развернуться спиной к заклятым врагам – хитрым ляхам, что найно шлют заверения Папе в Ватикан в покорности и надежде перекрещения православных в католичество. А, пускай ждут, пусть надеются, да только не бывать сего на Руси, не бывать!

Вытянул Василий Иванович затекшие ноги, опираясь на посох, медленно приподнялся. Уж стояла глубокая ночь, было холодно. Куда бы направить стопы? В почивальню княгини Соломонии? Но к ней и в дни радости ступать не хотелось, а в тяжкое время и подавно! Идти почивать? Но сна как не бывало, а оставаться одному не хотелось. Позвонил в медный колокольчик, в зале тут же появился дворецкий, поклонился.

– Где сейчас посыльный от воеводы нижегородского? – спросил Василий Иванович.

– Почивает, государь.

– Приведи мне его сейчас же, потолковать с ним хочу.

Дворецкий ушел, через некоторое время втолкнул в залу заспанного Ивана, поглядывающего по сторонам красными белками глаз.

– Кланься, дурень, государь перед тобой! – дворецкий стукнул мордвина по затылку, тот так и упал на колени.

– Оставь нас, – приказал князь дворецкому и добавил, – да принеси нам по кубку ромейского вина.

Василий Иванович жестом подозвал к себе мордвина, с нарастающим любопытством вглядывался в его круглое, с выступающими скулами лицо. «Этому молодцу не больше тридцати лет, почти как мне», – подумал государь, вслух молвил:

– Ты гонец от воеводы нижегородского Ивана Васильевича?

– Да, господин.

– Ты принес недобрую весть о приходе татар и посему я должен казнить тебя, – с усмешкой приметил, как побледнел мордвин, затем продолжил, – но в твоём письме сказано, что Нижний Новгород стоит неприступной стеной, не подпускает врага даже на пуд – то добрая весть. А теперь скажи, что должен сделать я: казнить тебя аль помиловать?

Иван вскочил на ноги, напрочь позабыв о недавнем страхе, глаза его загорелись ясным онем.

– Великий князь! – воскликнул он. – Позволь мне отправиться вместе с ратниками обратно: уж я-то укажу-покажу все тайные тропы, о которых никто из русских не ведаёт!

«Мордвин хитер и умен – такие люди мне нужны», – в мыслях согласился Василий Иванович, ответил:

– Ин ладно, на то и порешили. Завтра пополудни ты отправишься вместе с моим братом Андреем Ивановичем к Нижнему Новгороду.

Не прошло и седмицы, как московские хоругви и знамена засияли на горизонте в лучах зимнего солнца. За то время нижегородцы нанесли орде казанской значительный урон, но татары стойко стояли под стенами города, не собираясь уходить. Андрей Иванович приказал разбить лагерь, отдыхать. Стоящий рядом с ним Иван спросил:

– Неужто, княже, мы не нападём на врагов из засады?

– Всё в своё время, – спокойно молвил Андрей, стянув с себя при помощи слуг тяжёлые доспехи, – подождём, когда Иван Васильевич из пушек развеет супостатов, тогда и мы придем на помощь, дабы прогнать хана навеки с наших земель.

Иван покачал головой, однако в душе согласился с князьями: ежели напасть сейчас, татары в силе развеять московское войско, тогда городу не устоять, а пока... Мордвин с тоской глянул на городские стены, на сияющие на солнце маковки церквей, грустно вздохнул: где-то там – в городе, находится его семья.

Через несколько дней, морозным снежным утром, Андрей Иванович дал приказ к наступлению. Дали залп пищальники, поднялся над землей клуб дыма, запахло гарью, тут уж и пушки были наготове, как вдруг казанцы повернули лошадей назад, побежали к своему лагерю. Из лесной засады непонятно было, что происходит, зато с высоких городских стен, из-за бойниц, нижегородцы с ликованием узрели, как татары спешно собираются, оставляя на снегу раскиданные вещи да убитых коней, а московские ратники преследовали их по пятам, не давали даже возможности развернуться и пойти в наступление.

– Ай-да Иван, ай-да молодец! Сдержал все-таки слово, – воскликнул Хабар-Симский и тут же дал наказ встретить Андрея Ивановича с ратниками с хлебом и солью, ударить во все колокола, какие имелись в городе.

Мухаммед-Эмин в гневе метался по лагерю, бил плетью военачальников и простых воинов, выкрикивал непристойные слова в сторону Нижнего Новгорода, насылал на головы урусов проклятия. Шаманов, что по его же воли пророчили победу над гяурами, хан приказал

казнить, но покоя в душе так и не нашел. С раскаянием вошел в шатер-мечеть, упал на колени, прося Аллаха простить его.

– О, Всевышний и Милосердный! – закончил Мухаммед-Эмин намаз словами дуа. – Прости все прегрешения мои: вольные и невольные. Ныне я осознал, что нельзя преступать Твоего повеления, и если мне предстоит умереть, то позволь мне уйти верующим.

Слезы горечи текли по его впалым смуглым щекам, но хан даже не думал вытереть их, все также униженно стоя на коленях.

Иван Васильевич Хабар-Симский сидел с Андреем Ивановичем за столом, вместе попили медовуху из позолоченных кубков, вспоминали былые дни, людей, ушедших из жизни, и ныне живущих. Помянули великого князя Ивана Васильевича и его величественную супругу Софью Палеолог, Ивана Младого, о Елене Волошанке не молвили ни слова – о мертвых любо хорошо, либо ничего.

– Мой брат часто вспоминает о тебе, Иван, соскучился уж за такое время, – Андрей Иванович поставил кубок на стол, вытер мокрую бороду ладонью.

– Чего же на Москву не зовет, коль скучает? – спросил Хабар-Симский и залпом осушил свой кубок – хороша медовуха!

– Ты знаешь: акромья тебя некому охранять пограничную землю от супостатов, а государь верит тебе как себе.

– Потому ли только сослал из Москвы?

– Не злорадствуй, боярин, на великого князя, да только такого воеводу как ты по всей Московии не сыскать.

– Ладно, верю. Доброе слово и кошке приятно, только оставим лишние разговоры и толки. Выпьем, княже? – воевода самолично наполнил кубки душистым русским напитком, выпили за здоровье и победу над басурманами.

Андрей молча посматривал то на печные изразцы, то на Ивана Васильевича, заметил за день сей встречи, как изменился, постарел боярин, или же так просто показалось? Хабар-Симский не мог долгое время сидеть в тишине – такой уж был у него беспокойный характер, сказал:

– Послушай, княже, я отправлял к вам посла своего – молодого мордвина, что Иваном звать. Ныне не ведаешь, где он?

Андрей Иванович допил медовухи, ответил:

– Как не ведать? Со мной он прибыл, верно указывал дорогу, обо всем поведал: что да как. По дороге засыпал прямо в седле, так мои ратники привязали его, дабы не свалился молодец под копыта коня.

– Я уж думал, что не доберется Иван до Москвы...

– Думал, его кто-то из лиходеев вот так? – князь указательным пальцем провел по горлу.

– Да нет, с ним моя грамота была: какой безумец сунулся бы? Боялся я, что Иван перейдет в ночи в стан казанцев и поведаст им о моем плане, тогда Нижнему Новгороду не устоять бы, а вам не знать бы про то.

– Надо бы наградить Ивана, старался же человек.

– Я уж думал о том, потому и спросил о нем. К вечеру пусть явится ко мне, все ему обскажу.

На небе ясно блестела луна, словно серебром отлитая. Покрыла темень землю, окутала своим пологом. Все разошлись по домам: наконец-то можно почивать спокойно. В княжеском доме в горнице слуги зажгли больше свечей, чем прежде, затопили печь. Иван Васильевич в одной рубахе да штанах встретил Ивана, обнял как друга родного, пригласил сесть за стол. Вдвоем поужинали, выпили по чарке вина – хорошо стало и душе и телу – тепло, спокойно.

От вина покраснелись у мордвина щеки, чувствовал он наперед, что скажет боярин. Хабар-Симский откинулся на стуле, молвил:

– Ты хорошо послужил мне, Иван. Что желаешь в награду себе?

– Ты сам ведаешь о том, боярин. Кроме семьи родной нет у меня более радостей.

– Хорошо, на том и порешили, – Иван Васильевич положил на стол мешочек, приметил, как загорелись глаза у мордвина, – то тебе за службу серебром плачу. А это по договору между мной и тобой, – трижды хлопнул в ладоши, вошедшему Михаилу Савельевичу проговорил, – приведи сейчас же.

Юноша ушел и вскоре воротился с молодой женщиной. Иван как увидел ее, так вскочил на ноги, ринулся к ней:

– Любаша моя, красавица ненаглядная!

Женщина, молодая, здоровая, взяла мужа в свои объятия – высокая, на целую голову выше его. Хабар-Симский с умилением, растопившее его почертвевшее сердце воеводы, глядел на них, признал, что Любаша: рослая, статная, белоликая, с большими зелеными глазами и русой косой с руку толщиной, явила образ настоящей русской красавицы. Со скрытой завистью подумал боярин, почему не ему, а никому неизвестному мордвину досталось сие яблоко наливное? Вот бы и ему жениться на такой, как Любаша за место некрасивой, сухой Евдокии. Эх, и почто отец самолично выбрал ему жену вопреки велению сердца о прекрасной девице?

Перед расставанием Иван присел напротив Хабар-Симского, сказал:

– Ты уж не сердчай на меня, Иван Васильевич, но позволь мне отказаться от ратной службы ради жены моей?

– Ты сам волен избрать себе путь, не я.

– Спасибо тебе, боярин, за доброту твою, – Иван поклонился и собрался было уходить, как вдруг резко обернулся и спросил, – могу ли я еще, в последний раз, просить тебя о милости?

– Проси.

– Позволь мне воротиться к моему народу.

Хабар-Симский пожал плечами: сие означало – ну что ж, твое право. Иван в благодарность широко улыбнулся, в полутьме блеснули белые ровные зубы.

Московское войско неспешно ворочалось с нижегородского похода. Во главе ехал на рослом аргамеке Андрей Иванович, рядом с ним не менее величественно выглядел Иван Хабар-Симский, звенели удали, гордо смотрелись княжеские шапки и златотканые охабни с высокими воротниками. Не думал Иван Васильевич, что оставит Нижний Новгород, да только княжеский брат долго уговаривал съездить на Москву, поклониться государю да узнать, что и как. Хабар-Симский понимал: за столь лестным предложением скрывается тайный приказ самого великого князя, вот потому и решил он оставить Нижний Новгород, а самому хоть на короткий срок, но воротиться в стольный град, увидеть старый дом свой.

Въехали в Москву глубокой ночью, никто их не встречал ни криками радости, ни колокольным звоном – это-то и обрадовало воеводу, ибо не любил он дикий крик толпы и почему-то обещавшего всего самого наилучшего благословения: был он воином по долгу чести и зову сердца, оттого и уставал от праздничного народного любопытства. Остановился перед высокими воротами за кремлевской стеной: там, за дубовыми ставнями, ожидал его родной, до боли знакомый, но чем-то непохожий на прежний старый-позабытый дом. Все челядинцы высыпали, позажигали факелы да свечи, со слезами радости встретили боярина, господина своего. Иван Васильевич лишь только на миг оглядел родное подворье и тут же почувствовал, как незабвенно-сладостная теплота переполняет его сердце безудержным счастьем, ради которого стоило рисковать собственной жизнью, а позже беречь себя в дороге.

Из терема на широкое, изукрашенное тонкой резьбой, крыльцо вышли Евдокия с детьми, а за ней семенила Алена – все также одинокая и незамужняя. Хабар-Симский с улыбкой погля-

дел на них: вот эти две женщины – одна родная, другая любимая – вот его единственная награда за труды праведные – благословение на новую жизнь!

В Грановитой палате накрыт стол, на скамьях, застеленных персидским сукном, сидели государь Василий Иванович, его брат Андрей, великая княгиня Соломония да воевода Хабар-Симский. Вкушали яства заморские, ранее невиданные на Руси: апельсины, гранаты, дыни, персики, ананасы, попивали старинные ромейские вина, привезенные из Византии еще княгиней Софьей Палеолог. Терпкое вино обжигало горло, мысли становились яснее. Иван Васильевич из-под чарки поглядывал то на государя, то на его супругу, улавливал, как Соломония то и дело отворачивала лицо от мужа, грустно опускала очи, и понял тогда воевода, что не жалуется Василий супругу свою, ох, как не жалуется! Поговаривают в тайных переходах дворцовых палат, будто Соломония никак не понесет ребенка – того наследника престола, о котором молятся все на Руси. Ежели сына у государя не будет, то такая свора да битва почнут за трон, что ни татарское нашествие, ни десять египетских казней не сравнится с ними.

Допив вино, Хабар-Симский отодвинул от себя чарку, обратился к Василию Ивановичу:

– Благодарю тебя, государь, за прием теплый да угощения дивные. Рад был послужить тебе верой и правдой да предстать пред очи твои светлые.

– Погодь, Иван, – махнул великий князь рукой, призывая того остаться, – скучал я по тебе, видеть желал, а ты уходишь. Спасибо за то, что устоял перед ордой хана, спасибо, что рисковал и что сообщил о неприятеле. И посему негоже тебе ныне ходить лишь в воеводах, отец твой верно служил моему, а ты оставайся верен мне.

– С Божьей помощью, – промолвил Хабар-Симский.

– Вот и подумал я: коль ты, Иван, обосновался в Нижнем Новгороде, то быть тебе на нем князем со всеми волостями и землями нижегородскими. И не будет над тобой никого, акромья меня.

Сдерживая порыв эмоций, Иван Васильевич склонил голову перед государем, а внутри – в самом сердце, был несчастлив оттого, что придется вновь покинуть Москву, теперь уже навсегда.

Василий Иванович почувствовал перемену в лице воеводы – не того ожидал он от него; неужто этому боярину неприятен подарок, отданный по воле самого великого князя? Скрывая приступ гнева, он ответил:

– Вижу, Иван, не по нраву тебе мое решение, да только знай, что помимо тебя не могу я отправить в такую даль кого-либо иного. Но посуди сам. Кто сможет стать князем в Нижнем Новгороде? Шуйский, Бельский, Мстиславский? Нет, сих мужей следует попридержать на Москве – нет мне в них веры, а в тебе есть.

Иван Васильевич ничего более не сказал: с последними словами государя он был полностью согласен.

6. Путь на богомолье

Соломония как праведная супруга православного государя целыми днями просиживала с остальными девицами и боярынями на женской – запретной – половине дворца, в собственной почивальне с большими резными окнами, изукрашенной вырезанными деревянными столбами, подпирающими сводчатый потолок, большой кроватью под алым пологом да старинной иконой Богородицы в углу – над рядом зажженных церковных свечей. На резном кедровом столике – подарок от итальянских купцов, в восточной курильнице теплились приятные индийские благовония, а на холодном полу красовался широкий бордовый персидский ковер – любимая вещь на Руси.

Девицы да женщины достали ларцы из сундука – переливались камни драгоценные на крышках шкатулок, рассыпались жемчуга да яхонты по кровати, вскинулись ворохи шелковых рубах и сарафанов. Старая постельница Аксинья поставила перед Соломонией маленькое зеркальце в серебряной оправе – доселе редкий предмет на Руси, оттого и стоящий большие деньги, гребнем провела по густым локонам княгини.

– Гляди, государыня ты наша, какова красота твоя! – Аксинья поднесла к лицу Соломонии длинные серьги, надела ей в уши, затем приложила шелковый платок с золотой каймой по краям, добавила. – Только отчего, ты наша милая, невесела? Аль не примечаешь красоты своей молодой?

Остальные девицы и женщины ринулись к Соломонии, упали на колени, целовали руки ее белые, орошали их слезами своими, причитая в голос:

– Скажи, государыня, чего просит сердечко твое, так мы в миг все исполним! Хочешь яств заморских, аль сурьму новую, жемчуга дивные или по сердцу тебе платья, златыми нитями пошитые? Молви хоть словечко, не томи ты нас, рабынь твоих несчастных?

Соломония обеими руками оттолкнула прислужниц, тихо ответила:

– Хватит реветь, дурехи, все то имею я сполна, а об остальном не ваша печаль.

«То, чего желает сердце моё, не исполнить вам во век», – печально подумала про себя княгиня и взор ее упал на боярыню Шуйскую, та стояла в стороне, стыдливо прикрывая уже обозначившийся живот, и оттого лишь хотела закричать Соломония тяжким криком, дабы хоть на миг притупить боль в душе.

Аксинья вместе с остальными открыли коробочки с мазями, сурьмой, белилами да румянами, принялись украшать сим пригожую княгиню. Насурьмили брови соболиные, подвели глаза китайской тушью, накрасили алым цветом губы и ногти, набелили лицо, нарумянили щеки. А позже сели вокруг Соломонии, дивятся, любят ее яркой нерусской красотой. Собрали государыню в дальнюю благословенную дорогу – не куда-нибудь, а на богомолье по святым местам: там, знали лишь посвященные, будет великий князь с княгиней просить Господа о даровании им наследника.

Робко постучал в тяжелую дубовую дверь отрок-посыльный. Аксинья отворила дверь, тот молвил:

– Государыню ожидают уж сани.

Аксинья поблагодарила юнца, дала ему горсть яблок, тот с благодарностью и поклоном удалился.

Соломония дрожала всем телом, душой и сердцем испытывала стыд из-за незавидной своей женской доли. Вон, требует супруг наследника, нужна земли русской опора и поддержка на будущее, да только не дает Господь Соломонии радости материнства – видать, прогневила она Его волю когда-то, а ныне едит в монастыри и храмы замалывать грехи свои да молить о женском счастье.

Княгиня встала, глядела в одну точку невидящими черными очами. Набежали прислужницы, накинули ей на плечи шубу с золотыми пуговицами, а голову укрыли шерстяным расписным платком, качнулись от их прикосновений длинные яхонтовые серьги.

Государь Василий Иванович дожидался супругу на крыльце дворца, с нетерпением тербил пуговицы на опашне. Наконец, вышла к нему Соломония в окружении боярынь и боярышень, поклонилась князю и с опущенными очами села в возок, умастившись на пуховых подушках, подле нее села верная Аксинья – и в путешествии обязана прислуживать государыне. Василий Иванович поехал в другой колымаге, с ним на конях поехали бояры Иван Берсень-Беклемишев, Василий Васильевич Шуйский Иван Шигона. По вымощенным досками улицам гулко застучали подковы коней, запрыгали колеса по неровностям. Прохожие при виде стрельцов в красных кафтанах, знатных бояр, крытых летних саней на иноземный лад жались к стенам, раболепно падали на колени перел государевым кортежем, боялись показаться недостаточно подобострастными к знакам властной державы.

Выехали за московские ворота, тронулись по главной дороге по направлению к Троице-Сергиевой лавре, чьи купола еще хранят память о преподобном Сергии Радонежском, основавшего его.

Соломония украдкой выглянула в занавешенное оконце своей колымаги, всматривалась в непривычный, дивный для нее далеко-незнакомый мир. Стояли погожие, теплые дни: весна прочно укрепилась-завладела русской землей; и там и здесь на свободной от снега почве проглядывала темно-зеленая, еще совсем молодая трава, а на деревьях и кустарниках медленно, но верно пробивались-распускались белые да розовые цветы, которые потом на радость людям превратятся в ягоды. Дальний лес окутался светловатой дымкой – видать, влага под лучами теплого солнца испарялась, поднимаясь дымкой вверх – к самому небу, по которому плыли легкокрылые облака. Благодатная, благословенная русская сторона, сколько красот таишь ты за пределами столичных каменных оград! Налюбовавшись на окружающий мир, Соломония вновь откинулась на подушки, плотнее стянула концы платка под подбородком. Аксинья раболепно пододвинулась к княгине, с заботливой теплотой накрыла ее медвежьим одеялом, спросила:

– Почто кручинишься, государыня наша?

Соломония ответила, даже глаз не подняла на верную постельницу свою:

– Мочи нет мне, у сердца тоска.

– Ах, да за что же тебе, княгини велокой, жаловаться на судьбу? Уж краше тебя на всем белом свете нет! Ежели бы у меня было хоть толика того, чем владеешь ты, то я бы была счастливее всех на свете.

– Грех желать чужое. Тебе не понять ноши моей, – Соломония отвернулась, приложила голову к окну, некогда радостное настроение сменилось отчаянием.

Аксинья принялась гладить, успокаивать ее, как успокаивают добрым словом маленьких детей, обнадеживала о благословении по приезду со святых мест, говорила доброе, а сама плакала про себя, искреннее жалея княгиню. «Бедная, ты, бедная, – думалось старухе, – какое это горе – не познать счастья материнства! Ни за какие сокровища кремлевские, ни за шапку Мономаха не пожертвую я своим прошлым бременем и бессонными ночами у колыбели, никогда не пожертвую детскими ладошками и детским лепетом милых деточек своих».

Несчастна была Соломония, но более несчастным и обманутым чувствовал себя государь Василий Иванович, которому приходится аки калики перехожему вымаливать у Бога детей, которые даются безродным простолюдинам каждый год, в то время как ему уготована жалкая участь и страшное проклятие – умереть, так и не родив наследника.

Княжеский кортеж подъехал к воротам Троице-Сергиевой лавры, тут же зазвенели колокола в высоких башнях колокольницы, владыки и монахи вышли встречать государя и госу-

дарыню, благословили их на пути к святой обители, насчитывавшей чуть менее двухсот лет со дня основания и до сей поры явившаяся самым крупным мужским монастырем. Василий Иванович, вперив большие карие глаза на золотые купола, окруженные солнце-пресветлым сиянием на фоне голубого неба, благоговейно признался самому себе, как правильно поступил он, что решил вопреки делам государственным оставить все суеты здешнего мира в толстых стенах Кремля и посетить святое место для успокоения и умиротворения души своей.

Река Кончура, освободившись от холодного льда, плавно текла вдоль еще голых, но ждущих рост травы берегов. Над водой с кошачьими криками летали чайки, а по мосту, перекинутом с одного берега на другой, прохаживались монахи да несколько женщин-прихожанок, спешащих на молебен. Тихое, благословенное место – здесь и помыслы очищались от всего дурного и всякого скверного, и взор становится чище и яснее.

Соломония с помощью Аксиньи омыла лицо и руки в святом источнике: вода холодная, почти ледяная, но разве могла государыня чувствовать сие, когда в душе, на сердце бушевало жаркое пламя надежды и веры, что сызмальства тянуло ее в стены монастырского заточения. Набожная, кроткая, послушная слову отца аль супруга, до замужества восхотелось Соломонии подстричься в монахини, но отец строго-настроено воспретил это делать, грозным словом отчитал дочь, велел ей не только не молвить о сим, но даже из мыслей выкинуть всякие помыслы о постриге. Боялся боярин, что тогда не узрит никто красоты дочери, похоронит она заживо всю цветущую молодость свою. А позже, когда Соломония вышла за княжеского сына, радовался Сабуров счастью своему, с гордыней, свысока начал посматривать на тайных и явных завистников и недоброжелателей – возвысился род Сабуровых до государевых палат! Только кто ведал, кроме Бога, о душевных муках да терзаниях молодой княгини, Которому только посвящала она все тайны сердца?

Долго выстаивал молитву Василий Иванович с другими прихожанами, раболепно опускался на колени пред ликами святых, с трепетом приближался ко гробу, где покоились мощи святого Сергия. У Образа Спасителя просил прощение за грехи свои вольные и невольные, и слезы горечи раскаяния текли по его некогда суровому темному лицу, просил Бога о помощи от врагов иноземных и русских, что своим вероломством и предательством старались раздробить земли русские, с таким трудом собранные, и главное – в тайниках души шепотом, почти неслышно, молил о даровании ему наследника – единственную опору державы, которому по смерти отца перейдет вся власть над Русью. О том же молила и Соломония, стоя преклоненной перед иконой Богородицы с Сыном на руках – сий святой образ матери, незримой тайной и трепетом поправший все мысли несчастной княгини.

Завершился молебен, опустел храм. Игумен с достоинством, лишённое всякого раболепия, пригласил великого князя и его супругу разделить с ним монастырскую трапезу, ведал заранее – неспроста приехал к нему государь. Ели молча, вкушали непривычную простую снедь, монастырскую: похлебку да вяленую рыбу. Запивали кагором. Все было предельно скромно – согласно христианству, но до чего же вкусно: государь ничего подобного не вкушал ранее, оттого и трапеза показалась ему превосходной. В трапезную залу бесшумно вошел юный послушник, принялся убирать со стола, игумен знаком отозвал его, потом обратился к Василию Ивановичу:

– Какая нужда привела тебя, княже, в нашу святую обитель?

Соломония на миг остановилась вытирать рот полотенцем, украдкой взглянула на мужа. Тот спокойно допил кагор и, поставив чашу, ответил:

– По делу государственному прибыл я ныне, отче. Да только слово молвить могу лишь с глазу на глаз, подальше от чужих ушей и глаз.

– Я понял тебя, государь.

Втроем покинув храм, вышли на подворье обители. Словно крепость, окруженная со всех сторон белокаменной стеной, все святое место – с храмом, малыми и большими домами, амба-

рами, хлевом, мельницами – напоминало небольшой город, только вместо мирян по округе ходили монахи, дьяконы, послушники в черных рясах и клобуках: одни таскали в ведрах воду, иные кололи дрова, третьи чинили старые, в местах покосившиеся, ворота: жизнь – привычная – и здесь шла мирным ходом.

Прозаживаясь вдоль стен, Василий Иванович продолжил начатый игуменом разговор:

– Слышал я, владыко, что здесь, под самим этим храмом, в тайных подземных переходах спрятаны неведомые сокровища и золото, собираемые со времен Дмитрия Донского. Мне надобно видеть сие богатства.

– А зачем они тебе, государь? Неужто в самой Москве, в кремлевских закромах, нету ни золота, ни серебра?

– Вся моя казна опустошена войнами и междоусобицами. Сам ведаешь, что стоили походы на Новгород и Тверь, а также битвы с татарскими ханами. Год назад безбожный хан Мухаммед-Эмин, порушив все клятвы, пошел войной на Нижний Новгород, благо, горд устоял под воеводством Хабар-Симского...

– И ныне ты сам желаешь пойти на Казань, дабы отомстить басурманам? – закончил за Василия Ивановича игумен.

– Да, и посему я желаю видеть золото, принадлежащее мне по праву.

– Какие речи, государь?! Неужто не ведано тебе, что вера наша православная держится на злате?

Великий князь выдал из себя смешок, молвил:

– А я-то думал, что все православие держится на вере в Господа...

Стоящая чуть позади Соломония перекрестилась, но государь даже не заметил ее испуга.

– Не злорадствуй, княже, – спокойно, словно и не было недопонимания между ними, ответил игумен, – не за небесные, но мирские богатства строятся храмы и монастыри, за деньги одариваем мы жаждущих, за золото и серебро строим дома и ночлеги для нищих и обездоленных, больных, паломников. Не тобой, но нами вскормлены многие сироты да калики переходящие, ибо двери обители всегда открыты для каждого пришедшего.

– Ведаю я и о доброте и милосердии вашем, о молитвах, что взываете денно и нощно о земле нашей. Но, владыко, подумай, какая сила остановит нашествие врагов, ежели моему воинству не будет оплаты? Лишь с оружием в руках, но не миром, сохраним мы Русь, дабы народ православный не узнал гнета рабства и удары батагов.

Искренняя, пламенная речь князя, его просьба вместо грозного приказа возымели над сердцем игумена. Не желал седовласый владыко власти над государем, не хотел попрасть в унижении его властную гордость. Ничего не говоря в ответ, он лишь махнул рукой со словами:

– Следуй за мной, государь.

Над куполами белым облаком взметнулась стая голубей, покружилась над святым местом и воротилась на землю. Подул легкий прохладный ветерок. Пробил колокол к вечерне, пронесся по округе благословенный звон. Засуетились, побросали работы на подворье монахи, засемили к храму. Игумен подождал, когда двор опустеет, знаком поманил князя следовать за ним к черному входу. Там, у ветхой дубовой двери, достал владыко связку ключей, выбрал нужный. Дверь со скрипом отворилась: невесть сколько лет никто не заходил в темное помещение, представляющее собой длинный туннель под самим храмом. Идти пришлось долго: коридор то сужался, то расширялся, узкие шатающиеся ступени вели вниз под землю, и вокруг витал спертый, пропахший плесенью и крысиным пометом воздух.

– Тут, княже, почти сто лет никто не являлся, – прошептал игумен, но в этих стенах даже шепот слышался как раскат грома.

– Почему?

– Сие место тайное, не каждый из живущих в обители ведает о его существовании. Не знают люди, какие сокровища дивные сокрыты под храмом.

– Это верно. Кроме тебя и меня не должны ведать о моем золоте.

– Твоем ли, государь?

– Покуда правлю я на Руси, то все здесь принадлежит мне и только мне.

Ничего не ответил владыко, открыл ключом дальнюю дверь и взору их предстала комната, словно из сказки, вся сверкающая ларцами да коваными сундуками: в каждом из них находились старинные сокровища – монеты, драгоценные камни, кубки иноземные, украшения со всех концов света, сколько Русь завоевывала-покоряла народы. Не стал Василий Иванович просить много, три мешка со златом да серебром и то хорошо. Чувствовал князь стыд пред игуменом за недоверие и гордыню свою, позабыл, видать, о чем приезжал просить Бога, а сам как тать лесной искал богатства земные, а не духовные. Права оказалась Соломония, обвиняя его в черствости и честолюбии.

Обратно Василий Иванович не пожелал идти первым путем: уж очень опасный и гнетущий туннель представлялся пред его ясным взором.

– Здесь есть иная дорога, что ведет прямо в мою келью, – отозвался игумен, закрывая на ключ дверь в сокровищницу.

– Так веди, владыко.

Соломония, дрожа всем телом, бесшумно следовала за мужем, сердце ее тревожно билось в груди, боялась женщина, когда на пути под ногами попадались кости, рассыпанные на осколки, да когда, прячась от людей, за угол забегала крыса.

Государь не взял княгиню за руку, даже не глянул, не обернулся на нее ни разу: помыслы его были далеки от жены и не ей посвящались – а то, о чем думалось ему, никому, кроме Бога, не было известно.

Кончился длинный, на первый взгляд кажущийся бесконечным, коридор, и взорам людей открылась полутемная, с высокими маленькими оконцами что-то наподобие кельи, только свод был слишком низким, давящим, а в стенах прибиты цепи, в которых держат уздников.

– Что сие за место? – спросил Василий Иванович и тайное негодование вновь родилось в нем.

– Будь осторожнее, государь, старайся не произносить ни слова, – игумен трижды сотворил крестное знамя и в страхе глянул по сторонам.

– Да что за чертовщина здесь творится!?! – воскликнул князь и тут из дальнего темного угла, словно из преисподни, донесся пронзительный тревожный крик, будто не то человек, не то зверь какой решил сыграть с ними злую шутку.

Не успел владыко обречься, как громко, словно ее лишают жизни, крикнула Соломония, руками пытаясь отбиться от существа, схватившего ее за косу одной рукой и душившего другой. В порыве гнева Василий Иванович вместе с игуменом освободили из цепких рук бледную, дрожащую от страха княгиню. Владыко поднес свечу и все они увидели нечто, напоминающее человека: грязного, со спутанными волосами, в одних лохмотьях, прикованное за шейное кольцо цепью. Это нечто бормотало страшные проклятия, трясая вытянутыми вперед руками; видя, что смотрят на него, существо оскалило зубы и вновь попыталось кинуться на незваных гостей.

– Господи, спаси и сохрани от зла проклятого, – тихо вымолвил игумен и перекрестил угол, в котором копошилось в соломе сие нечто.

Существо прикрыло уши руками, издало страшный нечеловеческий стон, от которого мурашки побежали по телу, и начало сплевывать на пол белую пену.

– Кто это? – шепотом, испугавшись не менее Соломонии, спросил Василий Иванович.

– Прости, государь, я забыл предупредить. Здесь, под храмом мы держим бесноватых – тех, чьи души одержимы злом, – ответил игумен.

– Но зачем? – полюбопытствовала Соломония.

– Покуда они здесь, они в безопасности, стены святой обители не дают злу выйти на свет к людям.

– Почему тогда дьявол не оставит несчастных в покое? – молвил великий князь.

– Зло не всегда удается победить сразу, на то требуется немалое время. Этого несчастного мы держим вот уж три месяца, но темная сила не отпускает его душу, забирает всю его силу, – игумен трясущимися руками взял свечу, что стояла в нише, проговорил, – нам нужно торопиться, княже, иначе зло настигнет нас и лишит разума.

Одержимый, гремя цепью, некоторое время следил за уходящими, а потом вдруг крикнул им в спину:

– Не долго вам осталось, последний день уже скоро и тогда разверзнется земля под ногами и выйдет из нее нежить, держа смерть в руках своих! – и громко расхохотался от страшного сего предсказания.

Еще целую седмицу жили княжеские супруги в Троице-Сергиевой лавре, с заутренней до вечерней выстаивали молитвы, вкушали скромную монашескую трапезу вместе с остальными, как бы сравнясь с ними. А когда размытые после дождя дороги подсохли под теплыми лучами весеннего солнца, тронулись в обратный путь к Москве. С собой Василий Иванович вез три мешка с золотом – благословение на войну с казанцами.

7. Первая война

Мухаммед-Эмин вот уж сколь седмиц не покидал казанского дворца, проводя время то в праздности, то рассылая гонцов с призывом двинуться обширной армией на неверных, во имя Аллаха утвердить власть над гяурами. Гонцы вскоре возвращались в Казань, принося недобрые, тревожные для хана вести: астраханский правитель, сославшись на недуг, отказался выступить в поход; султаны и шахи Средней Азии обещали в свое время помочь казанцу, но когда, того не зная; шахи горных областей Персии и северо-западного Китая поведали, что им, возможно, самим вскоре понадобится помощь супротив язычников и посему ни о какой войне с урусами они не мыслят. В ярости кидал Мухаммед-Эмин в жаровню письма мусульманских правителей, бил по спине гонцов за недобрые вести, а потом требовал созывать совет мудрейших, слушал их речи, про себя мыслил: «Малодушные глупцы, ах, какие глупцы! Ну ничего, если Аллах дарует мне победу над московитами, то следующий мой удар падет на головы трусов».

Сегодняшним вечером хан проводил в окружении упоительных арабских танцовщиц, одетых в тонкие шелковые шаровары и кисейные покрывала на голове, тела их были умащены иранскими маслами, а многочисленные браслеты и монисты легко позванивали в такт движений. Этих красавиц с кофейной кожей и большими черными глазами доставили казанскому правителю купцы из дальних гор Гиндукуша – дикой чистой земли, где до сих пор живут племена арийцев – статных, сероглазых родоначальников европейских народов. Каждая из таких пленительных красавиц стоила на рынке по цене породистого жеребца, но для него – хана – купцы преподнесли танцовщиц в дар. Окрыленный их дивной, южной красотой, Мухаммед-Эмин каждый вечер отдыхал в их объятиях, его разум пьянел от страстных поцелуев красавиц и сладостных ароматных запахов. Особенной ему приглянулась одна, та, что одета в полупрозрачное ясно-голубое одеяние, вокруг головы красавицы переливались золотом тонкие цепочки в виде звезд, а длинные толстые иссяня-черные косы точно змеи струились по спине и бедрам.

– Самира! – подозвал Мухаммед-Эмин красавицу, остальных отпустил.

Красавица опустила на колени перед ханом, послушно принялась расстирать ему спину, ожидая милостей либо кроткого доброго взгляда. Но хан был непостоянен: то, чем восхищался несколько минут назад, могло вскоре вызвать в него злость. Вот и нынче тревогой погружался он в собственные думы, с волнением в душе осознал, какая участь ожидала его в поражении с урусами. Так хотелось ему сейчас поделиться с кем-то своими страхами, но с кем? Не с этой же дурой. Встав на ноги, Мухаммед-Эмин расшвырял подушки, крикнул зло в лицо Самире:

– Пошла вон!

Та, опешив, расширила огненные глаза, в недоумении уставилась на хана. Хан, указывая рукой на дверь, воскликнул:

– Я говорю, убирайся, дочь ослицы! Ну?!

Самира сразу поняла: подняв с пола разбросанные накидки, скрылась за дверью, радуясь тому, что сегодня осталась жива.

Несчастный, озлобленный хан остался один в большом полутемном зале, в жаровне потрескивали угли, а где-то в глубине сада – за окном – бежала вода в арыке. Гнетущее чувство одиночества боролось в его душе с ненавистью к неверному князю. Неужто урусы взаправду решились на месть: подобраться к стенам Казани, дабы его – великого хана, потомка улуса Чингизхана, захватить в плен, а то и лишить жизни? Ну уж нет! Покуда он, хан Мухаммед-Эмин жив, не бывать никаким урусам на его землях – живых или мертвых! Защитит он землю свою от врагов, и Аллах тогда не обделит его Своей милостью. От этих мыслей хану стало смешно,

грусть и печаль как рукой сняло. Мухаммед-Эмин позвонил в золотой колокольчик, в зал ступил со склоненной головой старый слуга.

– Мой повелитель, – слуга упал перед ханом на колени, коснулся лбом ковра.

– Призови военачальников и мурз, будет совет.

Слуга, пятясь назад до двери, пошел исполнять приказ, а хан тем временем взял Коран и раскрыл первую попавшуюся страницу – так он всегда гадал перед принятием важного решения. «Они постоянно слушают ложь, пожирают запретное. Если они придут к тебе, то рассуди между ними или отвернись от них. А если отвернешься от них, то они ни в чем не повредят тебе. А если станешь судить, то суди их по справедливости: поистине, Аллах любит справедливых!» – прочитал аят из суры Трапеза. Сердце его гулко забилося, мысли вновь спутались: как же поступить с теми неверными, что жили в Казани – казнить или отпустить, судить или помиловать? Но, кажется, есть еще один – третий – путь.

В зал степенно по одному вошли военачальники, судьи, мурзы, имамы, уселись согласно своему рангу на подушках, зашуршали парчевые и шелковые халаты. Мухаммед-Эмин с хитрым прищуром глядел поверх их голов, кажется, погружившись в собственные мысли, но так казалось лишь на первый взгляд. Осмотрел собравшихся, спросил:

– Много ли еще урусов осталось в городе?

Голову поднял повеначальник Карим, ответил на одном дыхании:

– В Казани осталось небольшое посольство боярина Яропкина, а также десяток русских купцов.

– Они все еще на свободе?

– О нет, великий хан. Как только до нас дошла новость о продвижении войска московитов, мои люди в тот же день заковали урусов в цепи и бросили в темницу, посла тоже. Но ни одного не убили.

– Ты правильно поступил, Карим, и посему вскоре получишь награду от меня, но не раньше, чем враг возвратится обратно. Нас сейчас надобно укреплять стены города, собирать воинов. Русских купцов казнить на площади, но так, чтобы боярин Яропкин все видел и содрогнулся. То мой приказ!

Присутствующие поклонились, спешно покинули зал. Гнетущая, зловещая атмосфера нависла над дворцом. А в самом городе, там, где из покоя веков располагались торжища, глашатаи хана на рослых конях объезжали узкие кривые улицы, громко созывали казанцев лицезреть казнь неверных. Отобранные воины из армии Карима сопровождали повозку, в которой на корточках сидели русские купцы. Женщины жалась к стенам, стыдливо прикрывая вуалью лица, мужчины хватали детей на руки, прятали их от взора гяуров. Тех нерадивых, кто не спешил на казнь или, напротив, путался под ногами, воины нещадно били кнутами, сгоняя с дороги.

Повозка с пленниками остановилась как раз напротив тюрьмы, вокруг тут же собралась толпа народа. Один из воинов подошел к низкому оконцу темницы, постучал в него, и когда показалось оттуда лицо боярина Яропкина – грязное, потемневшее, сказал через толмача:

– Гляди, посол, что станется с твоими единоверцами.

Боярин обратил взор туда, куда указывал воин, и от увиденного у него в жилах застыла кровь, страшная бледность покрыла все лицо его. Купцов по одному выводили из повозки, обращали лицом в стороны темницы, а палач тем временем острым ножом перерезал ему горло. Забился в лихорадке посол, непослушными руками как мог крестился, повторяя раз за разом одно и то же: «Господи, спаси и сохрани».

Вечером Карим самолчино доложил Мухаммед-Эмину о казни русских, хан остался доволен. Той же ночью по безлюдным улицам выехали из разных ворот два полка: один под командованием Карима, другой – темника Омара. Готовились татары к наступлению московского войска.

Русские ратники вместе с конями, пушками и иным обозом добрались на плотках до казанских берегов. Лодки, подаренные удмуртскими правителями, были надежно укрыты от вражеских глаз. Командовал ратниками сам великокняжеский брат князь углицкий Дмитрий Иванович Жилка – любимый из братьев, коему государь всецело доверял. Поглядывал Дмитрий Иванович на укрепленные стены Казани, в уме подсчитывал, сколько пушек следует установить да какой из полков пустить в ход вперед. К нему подъехал Николай Иванович – боярин худого рода, но знатного ума, за что и был удостоен чести отправиться в поход. Оба на миг прислушались – где-то по ту сторону стены жалобно выла собака, раздирая гнетущую тишину ночи – для кого-то, статья, последней.

– Худой знак. Животина раньше человека чует приближение смерти, – проговорил Дмитрий Иванович, его лицо озарял сероватый лунный свет.

– Вот окаянная! – махнул рукой в сторону Казани боярин Николай Иванович, добавил. – Захватим город, перережем всех собак, дабы не тревожили сердце.

– Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Город не только не взят, но даже не подвергся первой атаки. Коль пушки будут готовы, начнем штурм, не откладывая на потом.

Дмитрий Иванович устал, его клонило в сон, но даже того не мог он сделать: покуда ратники не приготовятся ко встречи с неприятелем, об отдыхе можно забыть. Но вопреки всему, князь не заметил, как сон сморил его прямо перед походным шатром. Верные слуги уложили князя почивать, накрыли теплым одеялом – по крайней мере, до утра татары не посмеют напасть на них.

Словно из глубокой пещеры донесся истошный крик не то птицы, не то человека. В забвении крепкого сна Дмитрий Иванович ощущал чье-то присутствие, затем последовал конский топот, а после уже отчетливые голоса человеческие:

– Княже, княже, – в забытьи туманного полусна донесся шепот, кто-то толкал его в плечо, Дмитрий Иванович силился отбиться во сне, но лишь быстрее пробудился, полуприкрытым взором осмотрелся по сторонам, ничего еще не понимая.

Перед ним склонил лицо военачальник, за ним стоял Николай Иванович. Князь приподнялся на локте, спросил:

– Чего вам надобно? Почто будите ни свет ни заря?

– Княже, – начал военачальник взволнованным голосом, – поганые казанцы окружили нас со всех сторон.

– Что?! – только теперь окончательно пробудился Дмитрий Иванович, вскакивая с ложа. – Как сие могло произойти?

– Татары двумя туменами подкрались к нам из-за холмов. Нам не взять Казань.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.